Екатерина Перченкова

ЛОЖЬ, ФАНТАСТИКА И ПРО СУМАСШЕДШИХ

УДК 821.161
ББК 84(2Рос=Рус)6
П27

Екатерина Перченкова
П27 Ложь, фантастика и про сумасшедших. Сборник рассказов. 200 с.

В сборник вошли рассказы, написанные в 2008-2016 гг.

©Е. Перченкова, текст, 2022

I Книга живых и мёртвых

Рита

Рита через рынок летит чёрным вихрем, подхватывая бестолковые и ненужные вещи: голубой ободок в блестящих кляксах, фарфорового котёнка, кружевные гольфы, деревянные бусы. У Риты мягкие каштановые кудри, в которых седина проросла дикобразьими иглами, прямыми и жёсткими. У Риты сжатые ненакрашенные губы и такие страшные глаза, что за бусы с неё забыли взять деньги.

Роликовые коньки тридцать четвёртого размера. Мельхиоровые серёжки-висюльки, отвратительно дешёвые, некрасивые и слишком крупные. Чёрная маечка с розовым черепом, вершина безвкусицы, — но деньги так жгут её сухие узкие пальцы, что Рита берёт и маечку, и бейсболку, и брелок для ключей с рыжей меховой собачкой.

За рынком строится церковь. Песчаная яма обнесена чугунным забором с крестами, окрестным липам подрубили корни, они порыжели и зачахли. Рита смотрит на бородатых мальчиков с мастерками и подсчитывает, что церковь возведут как раз за полгода, если не раньше. Мёртвые липы срубят, а молодые берёзы останутся живые и голые на морозе, и Рита будет плакать, прижимая к лицу жёсткие ветки.

Надо же так: всю жизнь ненавидеть этот блестящий клоповник, эту грязь, эти копеечные шмотки, носатых черноволосых старух, нависающих над хурмой и апельсинами, младенческие лица крепких мужиков над лотками со свежим мясом; всю жизнь ненавидеть — и всю жизнь нести сюда свои нелепые учительские деньги, потому что куда ещё. А теперь Рите как будто даже хорошо. До рынка можно ехать двумя автобусами с пересадкой, а можно полчаса идти пешком. Получается, туда и обратно — уже целый час. Покупки, если постараться, можно растянуть и на два. Так что когда жизнь кончится, Рита из каждого своего дня сможет вычеркнуть почти три часа. Ещё можно ходить в церковь. Можно выпросить лишних полставки. Можно раз в неделю позволить себе кафе; она присмотрела одно на улице Гагарина — подвал с оранжевыми столиками и медленной музыкой. Даже место себе присмотрела: угол возле окна за искусственной пальмой, где можно просидеть целый вечер. Почитать что-нибудь.

Подписаться на «Литературу в школе». Перечитать «Жизнь Клима Самгина». А там уже видно будет.

Становится так тепло, что Рита расстёгивает плащ и убирает шарф в сумку. Ещё можно съездить к тёте Свете в Ростов. И в Саранск, к папе на кладбище. А в Доме культуры концерты два раза в месяц и лекции по пятницам, все на них ходят, а она нет. Можно начать ходить.

— А ещё — думает Рита внезапно — можно бросить всё, сдать квартиру здесь, уехать в Питер, снять комнату в общежитии, пойти учиться на искусствоведа, гулять по Невскому проспекту, каждые выходные бывать в Эрмитаже, а летом ездить купаться в Комарово. Думает — и замирает, и жмурится в страхе, ожидая, что с неба прямо в макушку ей шарахнет тяжёлая справедливая молния. Но ничего не происходит. Она обнаруживает у себя на лице улыбку и позорно бежит с рынка, прикрываясь воротником плаща. Город-то крошечный. Кто-нибудь обязательно увидит и обязательно поймёт, о чём она тут размечталась. Противно от самого слова — «размечталась», но губы и щёки как будто свело, и никуда не уходит неправильная эта улыбка. Рита и в автобусе едет с ней, суетясь, оборачиваясь, поправляя очки и надеясь, что поблизости нет никого знакомого. В конце концов, какой смысл мечтать о невозможном? А Питер вот он, ночь в поезде — и все дела.

А на остановке с лотка продают рыжеволосых кукол, запечатанных в полиэтилен. Если бы Рите было десять лет, то сердце её осталось бы здесь, с этими пластмассовыми длинноногими девочками, у которых настоящие туфельки, яркие платья и нарисованные большие глаза. Когда Ленке было десять, всего год назад, она пожалела денег и не купила куклу — такую же или очень похожую.

Теперь-то она таких глупостей не делает. Оставив себе совсем немного денег до воскресенья, тянет к продавщице сложенные купюры и хочет сказать: вот эту справа, у неё личико миленькое, — и не может ничего сказать: в горле комок, в глазах черно, и асфальт под ногами вдруг перекосился, чтобы обидно стукнуть её по затылку.

Но Рита сильная. Очень сильная. Через десять минут она уже переходит дорогу — зарёванная, в испачканном плаще, с таблеткой валидола под языком и куклой в сумке.

Ленка не сонная и не грустная сегодня. Рите сразу говорят: она хорошо поела, у неё сейчас ничего не болит. И дежурит вечером добрая татарка Мила, она всегда разрешает остаться подольше. Рита вдыхает короткое бедное счастье, впитывает его кожей, у неё розовеют щёки и расправляются плечи, а Ленка уже подставляет лапку с обкусанными ногтями — накрасить ядовито-малиновым лаком, и надевает на немного отросшие вихры дурацкий этот ободок, ей даже идёт; и визжит от восторга, увидев роликовые коньки.

В десять часов Риту выгоняют домой.

Она вдруг остро и отчаянно жалеет, что нельзя пойти и прямо сейчас умереть. Чтобы сегодня прошло, а никакого завтра не было — оно подлое и гадкое, это завтра; чтобы оно не наступило, как всегда наступает — тяжёлой и плоской лапой. Ей так плохо, что кажется, хуже быть не может.

*

И правда, ничего хуже не случается. Дни сменяют друг друга, неразличимые и тусклые, потом понемногу светлеет, и однажды в середине августа она везёт домой на такси худющую и бледную, но совершенно живую и почти уже здоровую Ленку.

А дальше всё как обычно: наступает осень, начинается учебный год, на рынке дешёвые баклажаны и болгарский перец. С Ленкой туда ходить — мука: она всё время требует купить какую-нибудь дрянь и ревёт, хотя большая уже девочка; а Рита больше не может держать себя в руках и орёт на неё. И думает: а вон у той женщины такое знакомое лицо, вдруг это моя родительница из седьмого «Б», стыд-то какой…

Церковь не построили: то ли грунтовые воды оказались слишком близко, то ли пробили какую-то важную трубу. В одну августовскую ночь ухнули в яму и доски, и камни, и мёртвые липы, и даже одна живая берёзка.

Кафе с оранжевыми столиками закрыли, а на его месте придумали другое: колонки грохочут — зайти противно, и кофе дорогой.

И лишних полставки не дали, пришла новая девочка прямо из института, чья-то родственница, говорят. Беленькая, наивная и очень милая — Рита на неё не в обиде.

В октябре Рита хитроумно соблазняет биологиню Машу тортиком и безлимитным интернетом, оставляет Ленку под её присмотром и отправляется в Питер на выходные, но добирается только до Ленинградского вокзала — ровно через пять минут после отхода поезда. Неделя выдалась трудная; она так устала, что не находит в себе сил расстроиться. Едва успев на последнюю электричку, она возвращается домой и курит в подъезде у лифта, усевшись на чемодан. Разглядывает почтовые ящики и пару минут удивляется: соседские все помятые, разломанные, обшарпанные, а у них с Ленкой — нетронутый, зелёный, и номер квартиры выведен каллиграфически.

Ну, конечно — понимает она и тихонько смеётся — вот в чём дело: я же так и не подписалась на «Литературу в школе».

Алёша

Через несколько лет, прочитав в журнале «Чудеса и приключения» о цирке Барнума, Трифонов почему-то сразу вспомнит Алёшу. Хотя Алёша совсем не урод. Милый мальчик, говорит бабушка.

У него гладкое и круглое лицо с розовыми щеками и голубыми глазами. Он похож на резинового или пластмассового пупса, девчачьего карманного ангела. От одного взгляда на него Трифонову делается стыдно, удушливо и тяжело. Стыдно, во-первых, за себя, которого никто не зовёт милым мальчиком. Во-вторых, отчего-то стыдно за него, такого гладенького и нелепого. А в-третьих, Трифонов и так всё время думает о разных стыдных вещах.

Он ложится на бок, утыкаясь носом в ковёр над кроватью, и натягивает одеяло на голову, чтобы непременно было закрыто ухо, потому что иначе через это самое ухо мама будет читать его мысли. Конечно, это всё неправда: так его обманывали в детстве, чтобы хорошо себя вёл, вот и осталась привычка с тех пор.

А стыдные вещи вот какие: в мечтах Трифонов подходит к Алёше и толкает его обеими руками в круглый живот, и Алёша падает, и все вокруг смеются.

Или лучше так: он подходит и бьёт Алёшу изо всех сил кулаком в его аккуратный нос. Чтобы до крови.

Или, например, так: уроки уже кончились, уборщица моет полы в коридоре, а Трифонов берёт ведро с грязной водой, может быть даже с расползающейся вонючей тряпкой внутри, и выворачивает его прямо на голову милому мальчику. Или кидает ему в лицо эту тряпку с торжествующем воплем: «Сифа!». Сначала мечты кажутся приятными, а потом Трифонову становится не по себе, как будто он только что ударил щенка или раздавил лягушку.

Будь это посторонний мальчик, Трифонов плевал бы на него с высокой колокольни. Но он живёт в соседнем доме, и мама Трифонова давным-давно знакома с Алёшиной мамой. Обе они надеются, что сыновья подружатся. Вот только о чём с ним дружить, раз он такой пупсик? Когда в первом классе их с Алёшей посадили за одну парту, обнаружилось, что у него даже пальцы противные. Они круглые и толстые, как сосиски, и он ими цепко держит ручку, выводя круглые

и толстые буквы. И почерк у него как у девки. Будь у Трифонова такой почерк, он бы умер от позора. Да и вообще на Алёшином месте он бы давно уже умер от позора. И портфель у него девчачий. И платок торчит из кармана. Все нормальные пацаны его ненавидят, но совсем не за то, что он такой аккуратный. Например, Иванченко тоже аккуратный и тоже отличник, но он нормальный пацан, а Алёша — пупсик. Учителя так и говорят: «Не мальчик, а картинка». Подавились бы уже своими картинками.

На новогодний огонёк Алёша приходит одетый Щелкунчиком и получает приз за лучший костюм. Мама-художница нарисовала ему деревянную челюсть своей косметикой, склеила картонный кивер и сделала эполеты из золотого дождика. Трифонов смотрит на него, круглощёкого и довольного, на его стеклянные глазки, раскрашенное кукольное лицо и пошитый из занавески мундир, и чувствует внутри мерзкий скользкий холод, и думает: «ненавижу». Его трясёт.

Трифонову девять лет, и сам в себе он ничего не понимает. Понимал бы — оказался бы удивлён, что на самом деле нет никакой ненависти. Он боится Алёшу. Безобидного, несложного, аккуратного. Боится так, что даже дышать тяжело.

На каникулах Алёше исполняется десять, и Трифонову достаётся унылая повинность вместе с мамой посетить его день рождения.

Алёшина комната приводит маму в восторг. Кровать застелена так ровно, как будто залита жидким покрывалом. Книги стоят на полках корешок к корешку. Карандаши и ручки расставлены в стаканах на столе по размеру и цвету. А над столом висит лист бумаги, на котором синим фломастером крупно написано: «Распорядок дня».

Трифонов смотрит и глазам своим не верит. «7-00 — подъём. 7-05 — зарядка. 7-25 — водные процедуры. 7-30 — завтрак». И так далее.

«Позор!» — думает он.

«Как замечательно!» — восклицает мама. И глядит на Трифонова многозначительно.

Торт и газировка усыпляют его бдительность. И только по пути домой через двор, едва успевая за маминым размашистым шагом и косясь на её вдохновенное лицо, Трифонов обречённо понимает, что она задумала.

Жизнь превращается в ад. Он и так успевает всё, но больше никто не хочет его слушать. Распорядок дня мама написала красивыми буквами на плотном желтоватом листе. Распорядок висит над столом, и Трифонов видит его каждое утро, как только открывает глаза. Теперь весь его мир безнадёжно подчинён этой проклятой картонке.

— Семь тридцать! — стучится бабушка в ванную, когда он чистит зубы. — Ты должен был закончить водные процедуры пять минут назад.

— Семь пятьдесят пять! — строго говорит мама, заглянув в его комнату. — Твой портфель уже должен быть собран. Всё, я побежала, и не забудь: автобус в восемь десять.

Трифонов плетётся к остановке нарочно медленно и уезжает автобусом на восемь пятнадцать. А иногда идёт две остановки пешком. Иногда теперь он даже опаздывает к первому уроку.

— Пятнадцать тридцать! — напоминает бабушка после обеда. — Ты уже должен был сделать математику!

— Я делал рисование и русский, — бурчит Трифонов.

— У тебя что написано? — возмущается бабушка. — В четырнадцать пятьдесят ты садишься делать математику.

— Я делал рисование и русский! — орёт он, чувствуя, как в носу предательски щиплет. — А математику потом!

— А должен был сейчас! — не унимается бабушка.

— Я делал рисование и русский! — стоит он на своём, уже не в силах удерживать слёзы. — Накажешь меня? Давай, накажи! Ремнём выпори! В угол поставь! Дура!

Вечером, когда уроки сделаны и можно после ужина посмотреть мультфильмы (восемнадцать пятнадцать) или повозиться с конструктором (восемнадцать сорок пять), мама с бабушкой сидят на кухне и печально вздыхают.

Совершенно неуправляемый, говорят, ребёнок.

Может быть, говорят, нам стоит показаться врачу.

Ложась спать (двадцать два ноль-ноль), Трифонов отворачивается к ковру, закрывает одеялом ухо и представляет себе, как мощным и точным, как в боевике, ударом разбивает Алёшин куклячий нос.

Алёша учится играть на домре. Ладно бы на гитаре или на скрипке, так ведь домра — страшно глупый инструмент. Например, происходит какой-нибудь праздник: мамин день рождения или там восьмое

марта. Алёша сядет, возьмёт свою дурынду, ноты разложит и нащиплет пальцем песенку про петушка. И мама его сияет, а все хлопают. Было бы из-за чего.

Зато Трифонов учится по классу аккордеона, это совсем другое дело. Он даже умеет подбирать песни. Когда он играет, все хором поют. Или бабушка поёт одна — надтреснутым помолодевшим голосом, затянув глаза мокрой дымкой, выводит: «…коль парни на войне, в Германии, в Германии, в далёкой стороне…».

Трифонов ухмыляется, соображая, что «петушок» куда обиднее «пупсика» и можно отыграться. Хотя отыграешься тут, когда мамы дружат… Музыкалка далеко, вот они и сговорились перевести мальчиков в одну группу и на сольфеджио, и на хоре, чтобы удобнее забирать их после занятий. И теперь Алёша ходит за ним, как хвостик. Как круглый и гладкий жирный хвост. И чуть что, сразу говорит: я с тобой.

Вот честное слово, убил бы!

Двадцатого января стоит такой холод, что отменяются все уроки. В обычной школе для всех, кроме старшеклассников, а в музыкальной ни для кого, потому что к середине дня немного теплеет. Трифонов и Алёша старательно изучают тоники и субдоминанты, а потом учительница сольфеджио говорит: «Отпущу вас сегодня пораньше — опять холодает, пальцы мёрзнут, боюсь, вы у меня простудитесь. За кем ещё не пришли — в вестибюле можно побегать и попрыгать. Только сегодня, исключительный случай».

Но побегать и попрыгать не получается, потому что мама тоже приехала пораньше и ждёт. Она поправляет Трифонову и Алёше шарфы, проверяет, хорошо ли закрыты шапками уши, натягивает капюшоны и командует: побежали! А то замёрзнем!

На улице почти как в открытом космосе — темно и звёзды. И небо от холода всё зелёное.

Они едут в автобусе, где стёкла заплело ледяными вьюнками и, несмотря на работающую печку, слегка подмерзают ноги. Выходят на своей остановке и сперва идут к Алёшиному подъезду. Мороз кусается. Под ногами скрипит.

— Красота, — радуется мама, — добежали и почти не замёрзли! Алёшенька, пока! Мамочку от меня поцелуй!

Но Алёша идёт почему-то не в подъезд, а к лавочке напротив, укрытой искрящимся рассыпчатым снегом. Ставит на неё портфель. И стоит, как дурак.

— Чего ты? — удивляется мама Трифонова.

— Сейчас семнадцать пятьдесят, — поясняет Алёша, взглянув на часы, — а дома надо быть в восемнадцать ноль-ноль.

— Дома кто? — спрашивает мама.

— Никого.

— У тебя ключи есть?

— Есть, — говорит Алёша.

— Хочешь, мы с тобой поднимемся? Боишься один на лифте? Дверь открывать умеешь?

— Умею, — говорит Алёша. — Не боюсь. Но дома надо быть в восемнадцать ноль-ноль.

— Давай сюда ключи, пойдём, — строго командует мама.

— В восемнадцать ноль-ноль, — повторяет Алёша, глядя на неё своими голубыми стекляшками.

— Немедленно доставай ключи!

— В восемнадцать ноль-ноль! — у Алёши совсем красные от мороза щёки и почему-то дёргается рот. Как будто внутри у него сейчас что-то заклинит и сломается. И Трифонов с мстительной радостью представляет, как мама сейчас поволочёт Алёшу домой силой, а потом позвонит его маме и нажалуется.

Но она вдруг отступает и соглашается. Хорошо-хорошо, говорит, мы подождём, не переживай так.

И они все вместе стоят ещё несколько минут. У Трифонова уже ноги превратились в ледышки, а нос на лице почти не чувствуется. Потом Алёша берёт портфель и уверенным шагом направляется к двери, а мама хватает Трифонова за руку, и они бегут через двор к своему подъезду.

Пока лифт поднимается, мама кладёт ему руки на плечи и совсем чужим, нежным голосом шепчет: «Митенька. Митенька мой хороший… Родной мой. Умничка мой».

«Чего это она», — думает Трифонов.

Бабушка с порога ахает — как вы по такому холоду! — а мама привычно командует: ребёнок совсем окоченел, немедленно в ванную!

И вот Трифонов сидит в горячей ванной, а с кухни вкусно пахнет котлетами. В ванной хорошо, он бы ещё посидел, только время совсем неудачное: наверное, уже половина седьмого, и на собственную жизнь осталось всего ничего. В девятнадцать пятнадцать у него будут проверять уроки, а в девятнадцать сорок пять надо навести порядок на столе. У него портится настроение.

Закутанный в полотенце, он открывает дверь своей комнаты — и сразу видит на стене, где прежде висел «Распорядок дня», пустое место с четырьмя следами от канцелярских кнопок по углам.

Оленька

Дольше всего пришлось возиться с серьгой. Вытащить камень оказалось проще простого: Оленька только отогнула край каста и поковыряла внутри иголкой. Камень выпал на колени, потерялся в складках халата, был найден и придирчиво осмотрен со всех сторон. Снизу обнаружился клей, тусклый, жёлтый, запёкшийся. Отчего, ну отчего такую красивую вещь нельзя было сделать хорошо?

Это всё китайцы, предатели. Всю тысячелетнюю ажурную точность свою разменяли на мелочи, на тираж, на дешёвые поблескушки. Какая-нибудь узкоглазая дура поленилась закрыть каст как следует, капнула резиновым клеем, чтобы лучше держалось. Получила свои полдоллара и купила лапши на обед. И не подумала даже — вот как Оленька сейчас — «красивая вещь». А Оленька может позволить себе думать что угодно: во-первых, она учится в художественном; во-вторых, охотилась за этой серьгою полгода.

Сперва казалось, это Анна виновата в том, что творится с Оленькой: такая холодная и фарфоровая, в неизменном своём чёрном и красном, с матовой бледностью удлинённого лица, с блестящими волосами, собранными тяжёлым узлом на затылке. Вечно сидит за второй партой у окна, вечно в профиль: высокий лоб, нежный завиток на виске, нос с горбинкой, крупные красивые губы, весомый английский подбородок, крошечное, как из слоновой кости вырезанное ухо. И тёмно-красная капля на мочке, яшма в серебре, будто укололи иглой и выступила кровь. Как третий глаз или родинка: зацепишься взглядом — и не знаешь потом куда деваться. А если снимет серьги — окажется совсем уже не та Анна.

Оленька страшно обрадовалась, когда представила её без яшмовых серёжек — и Анна исчезла, истаяла, как призрак. Лопнула, как мыльный пузырь. И ещё обрадовалась вдвойне, когда на каникулах поехали в Новгород, и там она наконец-то забыла одну серьгу в душе. Оленька взяла её и не вернула.

Человек человеку друг, однокурсник и натурщик. Саму Оленьку никто особенно не хотел написать, ну так невелика беда: она сама знала, что не несёт ничего особенного в своём неярком лице и неровных плечах. Зато на Анну, красивую и контрастную, стояла очередь в

шесть человек. Случись ей оглянуться на Оленьку, ответить на приветствие, согласиться позировать — и не понадобилась бы серьга. Зато стало ясно, что дело не в Анне, точнее, не в ней одной.

Оказалось, это непростое занятие. Человека приходится долго и внимательно раздевать — мысленно, конечно. Снимать и отнимать по одной вещи, а потом присматриваться: останется ли он целым.

У Шурика, к примеру, были очки в широкой пластмассовой оправе, украсть которые вышло легче лёгкого, потому что Шурик рассеянный. У Лиды — ежедневник в кожаном переплёте: она всегда сидит сутулая, пишет и прикрывает написанное ладошкой. Надо отдать Оленьке должное: украв ежедневник, она не заглянула внутрь, ей было неинтересно. У Караулова — стеклянный голубой глаз размером с перепелиное яйцо, наивный турецкий сувенир на латунной булавке, которой он закалывал то свой драный полосатый шарф, то ворот растянутой кофты. Оленька стащила булавку на физкультуре — и, уже привычная, ни минуты не мучилась совестью. А у Татьяны Олеговны, которая оставалась целой, сколько ни раздевай её, но была чудо как хороша сама по себе, Оленька ночью в гостинице во время экскурсии в Суздаль отрезала прядь волос. Не какую попало, не чёрную с проседью, а нежно тронутую гранатовой краской, идущую от середины лба к макушке. Татьяна Олеговна, проснувшись и протрезвев, плакала и грозилась мальчикам военкоматом, а девочки почему-то оказались вне подозрений.

Прядь волос Оленька сожгла в фаянсовой чашке и высыпала пепел в пузырёк из-под аскорбинки. Ежедневник тоже сожгла — на пустыре, в кастрюльке; не спичками, а газовой горелкой. Палила угли, пока не побелели и не рассыпались. Кастрюлю пришлось выкинуть, а порошок уместился в три спичечных коробка. Стеклянный глаз завернула в клеёнку и стукнула молотком, а потом долго толкла потускневшую голубую крошку в стальной ступке. Очки Шурика сперва расплавила; стёкла, которые было бы жаль выкинуть, тоже оказались пластиковыми. Жёлто-серый твёрдый ком повторил судьбу стеклянного глаза, а порошок вышел двуцветным: почти охра — от стёкол, почти умбра — с оправы.

А вот с яшмовой серьгой Оленька не справилась, пришлось просить помощи. Сосед Коля, который врёт, что инженер, а на самом

деле слесарь, согласился помочь за небольшую бутылку и поцелуй в щёчку. Помянул старинные лапидарии, шутливо заподозрил в ведовстве, приворотного зелья просил, лез ещё раз целоваться, скотина. Оленьке стало так гадко, что она едва не бросила задуманное, но взяла себя в руки. Коля унёс яшму в гараж и вернул истолчённой в невесомую коричневатую пыль.

В магазине подарков Оленька купила двенадцать керамических чашечек или плошечек — бог знает, как они звались, а стоили столько, что Оленьке теперь месяц придётся поминать китайцев добрым словом: за лапшу в пакетиках.

На блошином рынке украла мятый мельхиоровый кубок со святым Георгием. Цена ему была сорок рублей, и заплатить не жалко, а нельзя.

На рынке обыкновенном мерила свитера и куртки, унесла под кофтой два шарфа — шерстяной коричневый и синтетический рыжий.

С лотка уличной торговки увела горсть жёлтой кураги.

Из овощного — полосатое яблоко.

Шарф коричневый, который побольше, кинула на спинку стула, расправила по сиденью, распутала бахрому. Шарф рыжий, полупрозрачный, пустила сбоку тремя тонкими складками. Справа уместила кубок с Георгием, развернув той стороной, что не мятая; яблоко — слева и чуть впереди. Курагу рассыпала вокруг, полюбовалась, убрала две штуки. Настольную лампу переставила на кресло, свет получился хороший, тени — глубокие. Сняла со шкафа едва успевший просохнуть загрунтованный холст, вытащила из-за уха карандаш и принялась рисовать. Управилась за полтора часа, поставила в сторонку — отсмотреться, чтобы после не передумывать и не переписывать. Чашечки-плошечки вымыла горячей водой и вытерла насухо. Вытащила из шкафа все свои флакончики и пакетики, высыпала порошки, тайные зелья расставила вокруг: масло из голубых цветов, что распускаются летом в северных полях, золотой венецианский терпентин и смолу дерева агатис, которой чудесным образом не дали загустеть.

Каплю одного, две другого, добавить третьего, перемешать аптекарской ложечкой, повторить двенадцать раз — и вот стоят на полу вокруг Оленьки двенадцать мисочек-плошечек краденого волшебства.

Белила, думает Оленька, придётся взять обыкновенные, из тюбика.

Натюрморт будет готов к летней сессии, Оленька назовёт его «Украденное».

Она представляет, с какой гордостью будет рассказывать про кубок и шарфики, про то, как смешно таскать курагу из-под носа торговки и как страшно красть в магазине, потому что там камеры. Как мучительно будет молчать о красках, о том, что украдено по-настоящему. Как Татьяна Олеговна приподнимет аккуратную бровь и скажет: что ж темно-то так? Ну, не перебелила в кои-то веки, и то молодец.

В постели перед сном Оленька понимает, что ей совсем плохо. Понимает, как всё это мерзко, бессмысленно и глупо. Как подло по отношению к тем, у кого украдено самое главное. Оленька плачет и думает: «Ну, не виновата же я, что придумала такое, мне пришлось это сделать, иначе оно съело бы меня изнутри». Обещает себе сходить в поликлинику и узнать про участкового психоневролога.

Слёзы скоро высыхают.

Бабушку Нину нельзя вообразить без янтарного ожерелья. Оно тяжёлое и некрасивое, и чаще лежит в шкатулке, но зато бабушка в нём на всех семейных праздниках и на всех фотографиях, даже на той, что сделала год назад и отложила для памятника.

Истолчённый янтарь, припоминает Оленька, надо облить двойным по весу количеством скипидара и поставить в тёмное место до полного растворения, а после нагреть на водяной бане, прибавив тройное по весу количество горячего льняного масла. У янтарного лака тёмный оттенок, для светлых красок он не годится.

Андрей

У Андрея проблемы с реальностью.

Он представляет себе, как приходит в угрюмое белокафельное здание, садится напротив усатого мужика со стетоскопом и сокрушённо говорит: «Доктор, у меня проблемы… как бы это… с реальностью как функцией. Вот Тургенев говорил, что женщина — это функция. А у меня не женщина — реальность. Понимаете?».

— Я всё понимаю, молодой человек, — отвечает доктор, — не смешите мои тапочки. Идите себе, учитесь, покуда не отчислены. Справочку я вам не напишу, уж простите покорно.

Кроме проблем с реальностью, у Андрея есть привычка читать в постели, писать капиллярной ручкой на нелинованной бумаге (наволочки в расплывшихся после стирки синих пятнах) и держать форточку открытой в любую погоду. Чуть-чуть мёрзнуть и мало есть. Так лучше пишется.

Утром он выходит на кухню с чернильным пятном на подбородке. Включает кофемолку, не открывая глаз. Ставит джезву на огонь, придерживая ручку. У него длинные пальцы и голубоватые от холода лунки ногтей. Досматривает сон, покачиваясь у плиты. Неприличный совершенно сон, честно говоря; было бы стыдно перед папой, но у него удачное лицо, *с постоянным выражением мучительного удивления* (папа о нём в дневнике), а значит, через пять минут можно будет сочинить что-нибудь вдохновенное, к месту помянув Юнга и Тибетскую книгу мёртвых.

Папа пьёт некрепкий чай и любуется сыном.

Папа у Андрея — большой молодец, хотя и писатель. Никогда не жил легко, однако не поддался, не сломался, выстоял. Никогда не выл с волками по-волчьи. В советские годы считался подпольным монархистом, за что претерпевал от партийных коллег, а потом вдруг оказался никому не нужен. Не напечатал ни одной книги. Увлёкся историей религий и обнаружил себя трагическим атеистом. Работал над ошибками с железобетонной обстоятельностью. Писал в стол. Учился. И сына учил, не скрывая гордости: как ожидаемо оказался одарён и как пошёл в отца этот поздний слабый росток.

Андрей тайком читает его дневник, выискивая первым делом строчки о себе.

Например, там написано: *метафизическая интоксикация в лабораторных условиях.*

Теперь он знает, во что нужно играть с папой.

Папу, как ни жаль, приходится обманывать. Вот однажды он сел рядом с Андреем на кухне (всё было плохо: история древних цивилизаций — незачёт, античка — недопуск к экзамену, Инна категорически не даёт), заглянул в лицо и потребовал: «Расскажи мне, за что ты злишься на мать».

Андрей не злился, он наоборот очень хорошо всё понимал.

Мама уехала в Крым с подругой год назад. Вдруг оказалось, что и Крым не Крым, и подруга не подруга, и обручальное кольцо лежит в ящике письменного стола, и муж чудовище, и сын в отца.

— А куда ей было деваться, — вяло и беспомощно подумал Андрей. — Я, может, тоже сбегу…

Но отца было жалко. И Андрей принялся сочинять, за что злится. Так увлёкся, что сжало горло и защипало в глазах. Папа погладил его по макушке жёсткой ладонью и ушёл к себе в комнату.

Самый ненавистный день недели — воскресенье. Вечером в субботу Андрей должен оставить файл на рабочем столе. Папа заваривает воскресный чай со смородиной, включает компьютер и распечатывает десять листов.

Он так и говорит: можешь мнить себя хоть сто раз талантом и хоть тысячу раз гением — а десять страниц в неделю вынь да положь, тогда и будет видно. Вероятно, он прав.

Андрей, морщась, наблюдает, как папа читает: с тяжёлым и сосредоточенным лицом, поправляя очки, сползающие на кончик носа. Держа лист двумя пальцами, будто он чем-то испачкан.

— Вот что, — говорит он, — погляди как интересно: я пишу про себя «отец», а ты про меня — всегда — «папа».

— Вот что, — говорит он, — возьми у меня в комнате словарь и посмотри, как пишется слово «доморощенный». А потом возьми учебник и посмотри, почему. Стыдно.

— Вот что, — говорит он, — ты, Андрюша, дурью маешься.

Андрей обиженно вскидывается, но молчит. Это надо перетерпеть, ни в коем случае не возражая, иначе разговор грозит затянуться.

— Язык у тебя, Андрюша, подвешен, но этого мало. Представь себе, что книга может быть не ложью, не фантастикой и не про сумасшедших. Представил? А теперь иди подумай. Вернёшься и расскажешь мне: почему ты этого не умеешь. Я бы сказал, что ты бежишь от реальности, но много чести. Ты бежишь от того, о чём вообще не имеешь понятия. Отчасти это моя вина, конечно, — вздыхает он. — Домашний мальчик… Не делай такое лицо. Я тебя не ругаю. Иди.

Андрей уходит думать.

Он ночует в общежитии с однокурсниками и портвейном. Однокурсники взбудоражены и многословны. Портвейн сладкий и липкий. Инна садится к нему на колени после второго стакана.

Андрею кажется, что эти люди, собравшиеся в захламлённой крохотной комнатке под беспощадно яркой голой лампочкой, связаны общей тайной. Ему кажется, что они больны и лечат друг друга, но от него это скрывают. При нём только пошло шутят и много пьют, и если говорят всерьёз, то никогда не с ним. На самом деле никакой тайны нет. Братству, неизбежно возникающему в любой общаге, не нужен домашний мальчик.

О разговоре с папой стоило бы вскорости забыть, если бы только не папин дневник. Андрей вообще не сразу понял, что это дневник. Общая тетрадь, исписанная от корки до корки, бессвязный и спотыкающийся текст, из которого привычные уже к скорому и тайному чтению глаза выхватывали «сын» и «Андрюша». Бесконечный рукописный монолог, разговор с самим собой; разговор той степени наполненности, что бывают только в книгах, а в жизни не встречаются никогда.

Андрей боялся, что папа пишет новую книгу и книга выйдет плохая. Или что он сошёл с ума.

Но теперь ему всё ясно. Папу заклинило. Он пытается записать развёрнутое определение слова «реальность» и не может. Ему неловко и обидно: он не взял высоту, которую сам себе определил, и вот сын как раз подвернулся под руку…

Андрей ловит за шиворот потерявшего равновесие Стаса. Стас — он такой: будущий драматург, пухлощёкий и узкоплечий, на вид тоже будто бы домашний мальчик, однако почему-то сочиняет пьесы про бомжей, проституток и наркоманов. Прислонив его к стене, Андрей требует немедленного мозгового штурма. Цель — понятие «реальность».

Стас наваливается на его плечо всеми своими нетрезвыми семьюдесятью килограммами, икая и хихикая, заплетающимся языком уточняя, реальность или всё же реализм. Ставит под вопрос реальность третьего размера у Инны — вдруг у неё там поролон? — и предлагает немедленный натурный эксперимент. А потом как-то внезапно светлеет лицом и читает Андрею связную, отчётливую лекцию об апофатике как способе познания. О реальности — как об отсутствии вымысла и отсутствии выхода.

— Получается, реальность — это безысходность, да? — спрашивает Андрей, пытаясь завязать шнурки и не сблевать.

— Да, — говорит Стас и держится за дверной косяк.

Инна пьяно и тоненько смеётся.

Разоблачённая реальность немедленно наносит ответный удар. Приказ об отчислении болтается на доске у дверей деканата.

Андрей старается запомнить ощущения. Это важно. Это обязательно пригодится потом. Папа приучил. Нельзя же, действительно, писать о том, чего сам никогда не чувствовал. Чёрные по белому буквы. Оглушительная тишина. Мгновенно замерзают руки и кончик носа, перед глазами плывёт тошнотворная зелень. Он чувствует себя совершенно беспомощным. А кто скажет, что безвыходных ситуаций не бывает, тот не знает замдекана и не знает папу Андрея.

— Пожалуй, хватит, — думает он, встряхивается и уходит вниз по лестнице. Перила царапают ладонь. Видна каждая неровность на свежевыкрашенной стене, мир заполняет мучительная ясность, и о пережитом унижении напоминает только мелкая противная дрожь, берущая начало где-то в желудке и пробивающая до кончиков пальцев.

— Привет, реальность, — думает он, спускаясь в метро. — Это считается, что я теперь в курсе? — ему смешно, стыдно и всё ещё нехорошо.

«Папа возненавидит меня на всю оставшуюся жизнь, — думает он. — Со мною, собственно, кончено. Зато можно больше не сочинять десяти страниц».

— Нет, — думает он. — Нет, только не так.

«Одни родители, — пишет Андрей, — отдают детей в музыкальные школы, потому что сами хотели быть музыкантами. Другие записывают их в спортивные секции, потому что в детстве имели освобождение от физкультуры. А вот ты — ты понятия не имеешь, что такое реальность… И я не имею, но устрою, specially for you.

Я сделаю для тебя больше, чем сын может сделать для отца. Мне не нужна реальность, я не хочу её, мне неинтересно и противно, у меня от неё голова кружится.

Но ты свою реальность — получишь.

Это я так тебя люблю.

Странно, правда»?

Дописав страницу, Андрей едет в Сокольники. Там оставшаяся после деда однушка, которую отец сдаёт и которая как раз теперь ко времени пуста. Ключ у него. В рюкзаке у Андрея бутылка водки и пузырёк феназепама. С радостью и жалостью он думает о том, как чудовищно реален для отца будет завтрашний день. А с него хватит. Хватит, да.

Внутри ворочается и царапается то, что прежде звалось здравым смыслом. Если приглядеться, то окажется, что у задуманного нет никакой метафизической подоплёки, что всё дело в острейшем желании любой ценой избежать завтрашнего разговора про отчисление, но это мелко, так постыдно мелко, что лучше и не приглядываться. Ложь и фантастика, старые друзья, стучатся в сердце безумца.

Реальность обманывает и в этот раз.

Лик её не грозен: он прост, груб и незамысловат.

Она не хочет, отчётливо не хочет, будто живое существо, будто женщина, уходить от Андрея к папе.

Папа успевает позвонить маме, подсуетиться в больнице, договориться с лучшим врачом и оплатить непутёвому отпрыску одноместную палату, прежде чем инсульт навсегда выдёргивает его из видимой действительности. Теперь он круглые сутки погружён в

невнятные грёзы — сладкие, если судить по выражению лица — и вряд ли осознаёт, что наполовину парализован.

Зато Андрей получает сполна. Реальность кафеля и капельниц, серых от больничного света лиц, скучных и страшных человекообразных в дурке, несолёной овсянки и невозможности остаться в одиночестве. Реальность работы курьером при типографии. Реальность возвращения домой, где стоит тяжёлый запах лежачего больного.

Он не верит в то, что видит вокруг. Так получается спокойнее, что ли. Не лучше, не проще, не интереснее. Спокойнее — и всё.

Пишет, как и прежде, свои десять страниц в неделю.

Пишет неправду, фантастику и про сумасшедших.

А куда деваться.

Шура

Только ветер и хлопанье крыльев на верхних лесных этажах, и Шура думает: это чёрт меня понёс. Прячет искусанные руки от дикого шиповника и малины, переступая по мху и камням маленькими ногами в чужих и жёстких сапогах. Ясное дело, чёрт. Шура — лёгкая добыча, безропотная.

Вот как случилось: стояла на полке деревянная плошка со старинною трещиной через гладкий бок. Внутри какие-то винтики, гвоздики, железные штуки, грязная изолента, паутина и пыль. И так хорошо она гляделась, так нежно и округло держалась в руках, что Шура не выдержала: вытряхнула все винтики, отмыла плошку дочиста, вытерла насухо — и представила вдруг, как вечером будет накрывать на стол: картошку, котлеты, салат, квас; а посередине скатерти, прямо на вышитый красный цветок, поставит эту плошку, полную брусники. А Георгий Петрович скажет: чудо ты моё!

И за это, за «чудо ты моё!», которого никто ещё не сказал, метнулась как ужаленная: нашла в сенях какие-то огромные сапоги, взяла с чердака стройотрядовскую, по всем рукавам прожжённую кострами и сигаретами куртку Георгия Петровича, замоталась платком и отправилась в лес. Лес совсем рядом: закрываешь калитку, спускаешься вдоль ручья, переходишь шоссе — и вот он, отсюда и до самого края света. Брусника в лесу живёт тяжёлыми драгоценными россыпями, хоть горстями бери. Вот Шура и набрала, и грибов нашла несколько штук, чтобы вечером с картошкой, кабаний след увидела совсем свежий, испугалась, закружила, принялась обходить стороной — и потерялась.

А лес сплошной, шевелящийся, тёмный и светлый, высокий. Шура смотрит вверх, где древесные колодцы полны летнего неба, пока не начинает кружиться голова и не подступают слёзы. Что же это я, — думает, на всякий случай присаживаясь, чтобы не падать с высоты своего роста.

Потом почему-то думает: Грациелла Магерини. И видит это имя написанным собственным аккуратным почерком синей ручкой. На первом рассказывали? — нет, на втором, кажется, курсе.

Грациелла Магерини была тётенька и психиатр. Она описала синдром Стендаля.

Запрокинула голову и пропала, там свод зелёный и золотой, из камней и корней поднимается лиственничная капелла, и птицы звенят в ослепительной её вышине.

Шура думает — и смеётся вслух, разглядывая себя будто со стороны, чумазую, мокрую насквозь по нынешней августовской жаре, в кирзовых несгибаемых сапогах и цветастом платке, в нелепой одежде с чужого плеча. Под платком, за левым ухом, страшный колтун, который не вышло одолеть с утра, надо бы вечером, с бальзамом, в бане. Комар укусил прямо в глаз, руки тянутся почесать, а нельзя: глаз заплывёт, и будет Шура один в один деревенская алкоголичка, а что на это скажет Георгий Петрович — представить страшно. Он-то впервые увидел её в платье, с жемчугом на шее, на тонких и слабых каблучках; её подвели к нему, как невесту, как спящую царевну, — разрешите представить, сказали, это Шурочка, она у нас искусствовед.

Он по сей день припоминает. Разрешите, говорит, представить, это Шурочка, она у нас дурочка.

Ну и ладно, она не просто дурочка сегодня, а полноценная, настоящая дурища. Солнце висит прямо над головою, востока и запада не разобрать. Мох на деревьях если растёт — то как плесень по стволу, сразу со всех сторон, мешаясь с рыжими и серыми пятнами лишайников. Трассы не слышно, только птицы поют, только ветер ходит наверху, только самолётик летит в голубом небе, тянет за собой белую ниточку. Потерялась Шура, совсем потерялась, хоть плачь.

А когда она уже наплакалась как следует, и устала, и выпила весь чай, что носила с собой в бутылке из-под колы, и размотала жаркий платок, и почесала укушенный глаз, вдруг — хруст сучьев спереди и слева. Не кабан. И не медведь, медведи сюда не ходят. Человек. А это, может быть, ещё хуже.

Человек огромен и чёрен, куртка нараспашку на голое загорелое тело, и комары его не едят, потому что не могут: такой глухой и древний кругом него стоит перегар. Синяя татуировка на заросшей груди, драная клетчатая сумка через плечо. А лицо знакомое.

— Ты, что ли, которая за мороженым ходит? — спрашивает чёрный человек и улыбается.

Шура улыбается тоже. Над ней вся деревня смеётся. Утром приедет автолавка, все выстроятся в очередь, суровые, строгие, кому консервов, кому водки, кому пшёнки или мыла, а тут Шура в цветном сарафане, в очках, с дамской сумочкой: «Мне, пожалуйста, два эскимо, четыре пломбира и одну лакомку».

— Грибов, что ли, собрать решила? — спрашивает он. — Опоздала. Дачники всё выбрали вчера, теперь до среды ходить без толку.

— Нет, — говорит Шура, — я за брусникой. Набрала вот. Заблудилась.

— Со мной хочешь? — подмигивает чёрный человек. — Я, правда, в Алексеевку иду, так выведу на край деревни, а ты потом полем пробежишь, не заблудишься.

Шура качает головой — нет, нет, мне бы ещё пару грибов найти. И всякой травы нарвать для чая. И ещё…

— Твоё дело, — говорит чёрный человек. — Значит, так. Спустишься вон там, промеж деревьев, видишь? Будет яма здоровая, в ней раньше уголь жгли. Обойдёшь её, а там две тропинки. Пойдёшь по верхней — выйдешь на шоссе. А по нижней не ходи, она как раз на тот обрыв, с которого Ташка Георгиева кинулась.

И у Шуры внутри всё мертвеет и обрывается.

Вот, значит, как оно было.

Ташка — девочка с фотографии, засиженной мухами и покрытой липкой пылью. Шура проводит по ней пальцем поперёк — и проявляются светлые глаза в угольно-чёрной обводке. Проводит снова — маленький печальный рот. Не выдерживает, обтирает намоченной тряпкой, разглядывает молодое лицо, замысловатую стрижку, густо, как у покойницы, запудренные щёки и нос.

Это, говорит Георгий Петрович, Таша.

Ташенька моя, говорит.

Нету, говорит, больше моей Ташеньки.

Шура и ночевать у него впервые осталась не по любви, а от жалости, не выдержав этого надрывного «нету». Потом однажды спросила: дочь? А Георгий Петрович сказал: жена.

И она ничего не спрашивала больше, потому что Таша была маленькая, младше даже Шуры. Вышла за хлебом, а там машина. Пошла купаться, а там ледяной ключ. Или заболела и не спасли. Или, ещё страшней, была беременна и тоже не спасли. Что спрашивать,

зачем человеку душу травить. Она с тех пор над Георгием Петровичем металась, как птица над птенцом — того принести, это не забыть, здесь отмыть, там приготовить, — и сама не заметила, как прижилась, привыкла, прикипела. И теперь даже когда думает «дом», то представляет не свою городскую комнату с компьютером и книжными полками, а деревенский сруб Георгия Петровича, чёрный снаружи и золотой внутри.

Шура идёт как во сне, как мёртвая, конечно, по нижней тропинке, где под мшистыми скалами и валунами, далеко внизу, открывается медленный серый поток. Представляет себе, как та, другая девочка — она в голове почему-то больше не Таша, а та, другая девочка — шла — нет, бежала, задыхаясь, той же тропинкой, может быть, ночью — нет, точно ночью, днём только глянешь вниз — и напугаешься, и передумаешь. И кусты все эти, малина эта высоченная, ёлки молодые, они все в темноте хлестали её по заплаканному лицу, царапались, цеплялись, а ей было уже всё равно.

И самое страшное — понимает Шура — что ночью в реку с разбегу не бросишься: не добежишь по камням до обрыва, ноги переломаешь. Надо вот здесь наступить, вот тут перешагнуть, и здесь ещё, держась за дерево, и всё это медленно, медленно, хватит времени как следует подумать, а та, другая девочка, — она, наверное, ни о чём больше думать не могла. Господи, ужас какой.

Солнце не висит больше, а перевалило на запад. Шура отворачивается от реки и бредёт в деревню, теперь бы она и сама вышла: деревня — это там, откуда глаза слепит сквозь ветки.

Дома никого. Георгий Петрович — вспоминает Шура — обещал кому-то сегодня помочь с дровами, вернётся часам к пяти. Отмывается в бане холодной водой, переодевается в домашнее и принимается за ужин. И говорит сама с собою: «Надо потом помыть окно. Надо пойти нарвать укропа. Хорошая картошка в этом году, не больная, а в прошлом всю проволочник поел. Ножик хороший. Удобный. Что он никак не научит меня ножи точить». Ходит, моет, режет, чистит, болтает вслух, только бы не стояло больше в ушах это, сказанное сиплым голосом лесного чёрного человека: «Ташка Георгиева с обрыва кинулась».

Георгий Петрович, как всегда, моет руки, включает телевизор, прихватывает книгу с полки — и пропадает. Он не читает за едой, а ест за чтением, это большая разница.

Шура молча подкладывает ему добавки, наливает квас, уносит грязные тарелки — и наконец, не выдержав, спрашивает: ничего не замечешь?

Он оглядывается, пожимает плечами. Полы, спрашивает, помыла, что ли? А окна что не помыла?

Шура берётся обеими руками за плошку с ягодами.

— Брусники, что ли, набрала? Куда её. Бестолковая ягода.

— Да, — звенящим голосом говорит Шура, — совершенно бестолковая, вроде меня! Окна я завтра помою. Если сегодня не уйду.

— Куда? — усмехается Георгий Петрович.

— А вот есть куда!

— Да кому ты нужна, — говорит он и снова утыкается в книгу. — Чайник лучше поставь. Зверобоя завари. Корзиночек моих достань.

Райские бисквитные корзиночки, укрытые сладкой цветною пеной, украшенные засахаренной вишней и диковинным физалисом, Шура привозит из города. В детстве Георгия Петровича они были только на картинках. А в Шурином детстве — в любой кондитерской, и она теперь к ним равнодушна. Георгий Петрович ест только сладкий крем, а бисквит крошит в кулаке и пересыпает Шуре в ладони — вынеси, говорит, птицам. Она послушно относит крошки в жестяную миску возле крыльца.

— Руки у тебя дырявые, — говорит Георгий Петрович, когда она возвращается, — в доме опять накрошила.

И Шурина рука — не сама Шура, а только рука её, своевольная и стремительная — запускает стеклянную сахарницу в стену прямо над его седой головой.

— Уйди с глаз моих, — говорит он тихо, не отрываясь от книги. — Уйди, дура.

И Шура уходит сначала во двор, там пора поливать. Потом за калитку, стащить мусор к общему баку. Ей часто бывает не по себе, но сегодня особенно. Руки опускаются. Надо, что ли, по правде уйти: вещей немного, сумка и пакет, последний автобус до города через час. А что потом делать. А как потом, правда. Сил ведь нет никаких. И как он, думает, тогда без меня, не справится ведь.

Она так и ходит долгими кругами — здесь полила, там выдернула злой чертополох, поддев лопатой крепкие корни, крыльцо подмела — сердце стоит в груди, как чужое. Она берёт в сенях бутылку — Георгий Петрович не пьёт совсем, она только вино иногда, но если что-то привезти, отвезти, починить, помочь, то водка — главная валюта, потому в сенях и стоит. И идёт к Маринке Лешей через улицу.

Лешая — это фамилия. Лет ей тридцать или сорок, не разберёшь, потому что Маринка из тех людей, про которых Георгий Петрович говорит «пошли по синей дорожке». Она всё ещё красивая, не седая, с высокими башкирскими скулами.

Шура входит, едва не поскальзываясь на никогда не мытом полу.

Ставит бутылку на стол.

Обхватывает себя руками за плечи и просит: Марин, а Марин, скажи, зачем Ташка Георгиева с обрыва кинулась?

А Лешая проснулась только что, сидит в халате, заплетает косу, глядит на неё и не понимает ничего.

С какого обрыва, спрашивает. Кто тебе сказал. Ерунда какая.

И только Шурино сердце успевает освободиться от мучительного беспокойства — Лешая говорит: Ташку Георгиеву птицы утащили. Все это видели. А про обрыв — это мы… ну… для городских, понимаешь.

— Какие… — диким шёпотом спрашивает Шура, — какие ещё птицы? Ты долбанулась, что ли?

— Откуда я знаю. Разные. Это у Петровича твоего справочники стоит про них, а мне кто маленький — воробей, кто побольше — скворец или голубь. Ворону знаю, сороку, ястреба тоже. Ласточек. И воробьиного сычика, орёт он очень страшно. В общем, собрались они — и утащили Ташку.

— Зачем?

— А кому она нужна была?

— И что, — спрашивает Шура, — ты прямо своими глазами видела, как её…

— Видела, — говорит Лешая. Сначала сомневалась, я же выпью, бывает, много разного вижу. А потом слышу — люди говорят, значит, с ума-то я не съехала. А куда они её унесли — никто не знает. Сама понимаешь, птицы.

У Шуры холодный комок в желудке и пятна перед глазами. Может, — думает она с запоздалым ужасом, — я отраву какую домой с

грибами притащила? А Георгий Петрович как же? Домой надо бегом, мало ли.

— Пока, Лешая, — говорит она с вызовом, задрав подбородок, — пойду я.

— И тебе пока, Шурка Георгиева, — отвечает Лешая. — Захочешь Петровича своего позлить — передай от меня пламенный привет.

Небо стоит над землёю вечернего цвета, розовеет рябина, у обочин теснится крапива, носятся стрижи — всё на своих местах и не похоже на галлюцинацию. Георгий Петрович смотрит футбольный матч. У фонаря над крыльцом собираются серые мотыльки. Шура подметает осколки сахарницы, моет оставшуюся посуду, надевает кофту и выходит в сад.

На перилах крыльца сидит жёлтая маленькая овсянка. Так близко, что можно протянуть палец и погладить крохотные пёрышки. Из кустов черёмухи слетает ещё одна, не такая жёлтая.

Шура с любопытством рассматривает птиц. Особенно коготки — они маленькие и острые. Надо как-нибудь так одеться, — думает она, — чтобы было не очень больно, когда…

Господи, думает она, я с ума сошла.

На перила садится третья птичка, серая с оранжевой грудкой, и косится на Шуру беззлобным блестящим глазом. Стоит ей пошевелиться — все три птицы поворачивают головы следом, будто чего-то ждут.

— Я тоже жду, — шёпотом говорит Шура птицам, и слёзы в глазах стоят больше не горькие, не злые и не больные, обыкновенные горячие слёзы, — вы там это… имейте в виду, что ли.

Марина и Макс

Марина похожа на восточную принцессу, Макс похож на кавказского князя: у обоих высокие скулы, горбатые носы и чёрные глаза.

Когда Марина сама покупает себе одежду, она выбирает просторные штаны, футболки с принтами, длинные свитера и удобные ботинки. Если одежду ей покупает Макс, дело плохо. Марина ненавидит все эти бретельки, ленточки, кружева, пышные юбки до колена, каблуки, чулки… Но Макс художник, ему видней. Макс любит её, ему видней.

Она едет в метро, и какой-то бородатый тип не отрываясь глядит на её голые бронзовые коленки. Бородатый тип выходит за ней на Академической, и уже приближается, и уже открывает рот, но Марина выдёргивает из сумочки телефон и громко говорит в пустую молчащую трубку: да, милый?

Макс не думает о том, как одет, в этом вопросе доверившись Марине полностью. У него есть белая куртка, на которой стоило бы крупно написать «не прислоняться», вельветовый пиджак с кожаными заплатками на локтях, шёлковые рубашки и крупные серебряные запонки. Будь его воля, Макс обошёлся бы джинсами и парой свитеров, но Марине нравится выбирать ему одежду, так пускай…

Макс пьёт много кофе, изредка курит трубку. Марина не курит и любит зеленый чай с жасмином.

Марина спит в кровати, в маленькой, узкой, почти детской кроватке, головой к шкафу, ногами к батарее. Макс — на разложенном диване. В одной постели они не засыпали ни разу.

У Марины есть Игорь, крепкий весёлый дядька, рыбак и охотник. Он старше на пятнадцать лет. С ним хорошо. Он непонятный человек, и Марине это нравится. Огромный, неуклюжий, с толстой шеей, с ладонями-лопатами, — и вдруг такой нежный и осторожный. Такой простой весельчак, нарочито бесхитростный, — и вдруг читает ей вслух стихи на французском, пока держит за руку покусанную комарами и промёрзшую насквозь Марину, пока качается лодка в мокрых осенних камышах, пока окунёк с проколотой губой мечется внизу, дёргает поплавок, а о поплавке давно забыли…

И дома у него хорошо. Только и остаётся — не расплакаться в тоске о невозможном, когда он говорит: «Вот сюда можно поставить твой компьютер, тут сделаем шведскую стенку, и стеллаж я куплю, и обязательно отдадим тебя в автошколу».

У Макса есть Ира, которая ходит на йогу, и Лиза, которой всего шестнадцать. То есть, они-то есть, а ничего серьёзного у Макса с ними нет. Но Марина злится. Особенно из-за той, которой шестнадцать. Она очень хорошая девочка. Очень умная и добрая. Её можно — нужно — крепко и сильно любить. И если вдруг… кто же тогда будет любить Марину?

— Я выйду замуж, — говорит она, и горло её сжато злой обидой, — вот выйду замуж и уеду насовсем. И даже звонить не стану, что ты тогда будешь делать?

У Макса становится совсем потерянное лицо. Он молчит.

— Я не буду ничего делать, — говорит он потом, вечером. — И делать не буду, и вообще… не буду.

Марина плачет, потому что это правда. А потом плачет ещё сильнее, потому что Макс не подходит и не гладит её по голове, чтобы успокоилась. А потом засыпает и ничего не видит во сне.

У Марины тетрадь в черной обложке, у Макса файл без пароля; меняться дневниками — это даже больше, чем спать в одной постели. Марина читает у Макса, что нет времени тяжелее позднего ноября, что Лиза, которой шестнадцать, связалась с какими-то американскими харизматиками, что был такой поэт — Борис Рыжий. Не находит ни слова о себе. Плачет. Макс читает у Марины, что Игорь взял путёвку на двоих под Астрахань, что с какой-то (каким-то?) Женей они ночью напились и смотрели «Синий бархат» (это когда приехала в пять утра на такси, сломала каблук в подъезде, выхлебала литр минералки и сидела на кухне, пока не рассвело). Что хочется к тёплому морю. Не находит ни слова о себе. Долго неловкими пальцами набивает трубку на балконе, на улице минус десять и темно.

— Если бы мы ходили куда-нибудь вдвоём, то могли бы выдавать себя за брата и сестру, — говорит Марина поздно вечером перед сном. — Даже за близнецов.

Макс улыбается ей. У них одинаковые клетчатые рубашки.

Она думает: вот как странно — чужой ведь, совсем чужой, совсем другой, отдельный человек…

Марина, не отрывая глаз, изо всех сил держась за взгляд Макса, делает шаг вперед — лицом к лицу, губами к губам. Слаженный, до долей секунды совпадающий шёпот: «Я тебя не брошу».

Они не удивляются таким совпадениям. Не радуются им.

И больше того: чтобы их не было, Марина не раздумывая отдала бы правую руку.

Просыпается.

В окне синь и ветер.

Долго глядит в потолок, выбирается из-под одеяла, босиком шлёпает в ванную. Разглядывает себя в зеркале. Взъерошивает волосы. Тянет руку к стаканчику с зубными щётками, медлит мгновение и берёт красную. И потом — круглую расчёску с блестящей ручкой. Заваривает на кухне зелёный чай, втирает в запястье терпкую каплю из голубого флакона, надевает браслеты и кольца.

Вспоминает, что нужно было ответить на письмо Лизе, но уже поздно, до шести вечера Макса не будет, совсем, нигде, никак; до шести вечера — Марина.

Ася

Ася уже вторую неделю думает о самоубийстве. У неё сессия. В понедельник она скажет Ольге Валентиновне, что всегда интересовалась суицидологией. И, может быть, получит зачёт автоматом.

Ася очень старается. Она прочитала Мюррея, Шнейдмана и Меннингера, нашла в сети эссе о писателях-самоубийцах и поговорила с дядей Мишей, который пытался повеситься пятнадцать лет назад. Её не оставляет чувство, что этого мало. Меннингера читать скучно, он весь такой старинный и нудный. А Мюррей плоский, как доска. А Шнейдман банальный, что взять с американца. А писатели — совсем не то же, что все остальные люди. А дядя Миша пятнадцать лет назад был пьян, и обстоятельств происшествия, а уж тем более своих чувств и мыслей до и после, совершенно не помнит.

Но всё было бы ничего, если бы не Юлька Черных, которая действительно интересуется суицидологией и даже уже замыслила диплом.

Просто ужасно, как это всё ей идёт. С её-то глазищами. С сороковым-то размером одежды. С фотографией Вирджинии Вульф, пришпиленной булавками к выцветшим обоям над кроватью. Стоит Черных не выспаться, у неё становится такое лицо, будто бы она сейчас разревётся или хлопнется в обморок, и вся группа пляшет вокруг, и преподаватели не спрашивают, и даже контрольные разрешают не писать. А ещё у Юльки мама психоневролог и папа судмедэксперт; отягощённый семейный анамнез то есть. Поэтому Ольга Валентиновна к ней неравнодушна.

— Тоже мне роковая женщина, — в ярости думает Ася, глядя, как Юлька склонила голову над конспектами: маленькая, хрупкая, с узкими плечами и длинной шеей, с бледными тонкими пальцами и восхитительной ранней проседью в тёмных волосах. Ася понимает, что на фоне Черных будет смотреться слабенько. Ей очень обидно.

А вот сама она никогда бы не покончила с собой, потому что это некрасиво. Что утопленники и повешенные выглядят нехорошо, она знает, но пугает её совсем другое. Вот если бы, скажем, Ася отравилась, и в морге её раздели бы и увидели, что она носит утягивающее

бельё, это был бы кошмар. А ещё в гробу она, мёртвая, не смогла бы тянуть шею вверх, и стал бы заметен второй подбородок, а это ещё хуже. Вот Юлька смотрелась бы в гробу замечательно…

И вот что самое печальное: никто, кроме Аси, не знает, что Черных — весёлая и вполне довольная жизнью девица с железными нервами и планами на пятьдесят лет вперед. Ася тоже думала, что у Черных клиническая депрессия и трагическая судьба, пока их не поселили в одной комнате. И что Черных записная анорексичка — пока та не сходила в кафе трижды за вечер с тремя разными парнями и не объела каждого на половину стипендии. Конечно, когда парни выстраиваются в очередь за дверью, на еду можно вообще не тратиться.

Ася тянется было к развёрнутой шоколадке, лежащей на тумбочке, но на глазах у Юльки неудобно.

Черных отрывается от конспектов и спрашивает:

— Тебе не страшно?

Ася не сразу понимает, о чём речь.

— У мамы был один пациент, — говорит Черных, — нормальный такой дяденька, юрист. Женатый, с ребёнком, вроде как любил обоих. Работа хорошая, грех на жизнь жаловаться. Один раз на работе пошел покурить, а там седьмой этаж и балкон. Покурил и прыгнул вниз. Поломался, остался жив, так вот к маме и попал. И объяснить не смог ни-че-го. Ни зачем, ни почему, ни про что думал тогда… К нему даже тётку одну, гипнотизёршу, позвали, она его до самого донышка раскопала, а там у него всё чисто и солнечно. Он иногда маме звонит, ну, на новый год, на восьмое марта там… Лет десять уже прошло. На работе всем сказали, что он упал случайно… по-моему, он теперь сам в это верит. Вот этого, Аська, я боюсь. Очень.

— Ну и дура, — отвечает Ася, — причина всегда есть. А хреновых гипнотизёрш, знаешь ли, много на свете.

Черных идет в туалет, Ася наконец-то добирается до шоколадки и успевает съесть половину плитки; сразу становится легче жить.

— Ты когда-нибудь… — начинает Ася, когда она возвращается, — и осекается.

Черных качает головой и залезает на кровать с ногами.

— Нет, Аська. Нет. Понимаешь, мама ведь… и у папы сердце больное. И ещё я не была в Париже. Чёрт, да я как будто

оправдываюсь! — она хихикает, а потом делает серьёзное лицо. — А ты?

— Нет! — отвечает Ася так быстро, что Черных, будь она чуточку внимательней, сразу поняла бы, что это неспроста.

Но непрошибаемая Юлька только ухмыляется и говорит: получается, мы с тобой две единственные нормальные тётки на весь этот психотстойник. Давай чего-нибудь пожрать сделаем?

Юлька опять собирается уйти на всю ночь. Бегает по комнате в кружевном лифчике и крошечных трусиках, подкручивает щипцами волосы, подводит глаза, роется в Асиной шкатулке с украшениями.

— Вот эту деревяшечку ты мне дашь, да? И вот эту мелкую тоже. А браслет такой беленький был, где? — тараторит она, перебирая бусы и серьги. — Ого! Это откуда у тебя?

Вот и добралась до бабушкиного колечка. Ничего особенного: тёмное, чуть желтоватое серебро с горным хрусталём — два переплетённых стебелька и прозрачная капелька, но сразу видно, что старая и хорошая вещь. Асе оно, правда, лезет только на мизинец, и то с трудом, а сходить в ювелирную мастерскую то некогда, то нет денег.

На прозрачной Юлькиной руке кольцо смотрится как родное. Впору на безымянный, даже чуть-чуть свободно, и нужно снять остальные кольца, потому что такое старинное лучше носить одно.

— Слу-у-ушай… — начинает Черных, сделав умоляющие глаза.

— Это мне бабушка отдала, — говорит Ася, — а ей досталось от прабабушки. Оно дореволюционное ещё. Бери.

— Обалдеть! — восхищенная Юлька только что не подпрыгивает. — Я аккуратно, правда!

Ася смотрит ей в глаза не моргая.

— Совсем бери. Носи. Тебе очень идёт.

Черных целует Асю в щёку, лепечет какое-то скомканное спасибо и начинает одеваться.

Ася ложится, отворачивается к стене и накрывается одеялом с головой.

Юлька так и убегает, пообещав быть раненько утром.

Ася пять минут лежит тихая, в расстройстве и недоумении, а потом вытаскивает из сумки телефон и пристраивает рядом с подушкой. Ну не дура же эта Черных, быть того не может! Сейчас она переведёт

дух, подумает головой и сообразит, что если один человек вдруг дарит другому очень дорогую вещь — это не просто так. Значит, человеку эта вещь стала не нужна… или скоро совсем не будет нужна. Черных сейчас быстренько сложит один и два и позвонит. Или вообще даже вернётся.

В половине первого ночи телефон ещё молчит. Ася лежит тихонько и ждёт, ей хочется плакать, но из уголка правого глаза выползает одна-единственная ленивая и несерьёзная слезинка. Ася переодевается в пижаму, доедает шоколадку и ложится спать.

Изольда Марковна

Изольда Марковна кладёт в бульон мелко нарезанную петрушку и половинку вареного яйца. Ополаскивает кипятком тонкостенный заварной чайник, щедро сыплет мелкий черный чай, добавляет пять горчичных зёрен и каплю уксуса. На кухонном столе появляется вышитая льняная салфетка, мельхиоровая столовая ложка и серебряная чайная, два кусочка подсушенного чёрного хлеба на фарфоровом блюдце. Радио неразборчиво нашёптывает новости, уютно урчит холодильник, очнувшаяся после зимней спячки герань топорщит маленькие сильные листочки.

Она долго моет руки глицериновым мылом, вытирает мягким полотенцем, смазывает кремом. Разглядывает в зеркале тёмное, оплывшее, исчёрканное морщинами своё лицо. Убирает волосы в аккуратный тугой пучок.

На столике у зеркала три мятых красных тюльпана в хрустальной вазе. Раскрылись, вывернулись почти наизнанку, бесстыдно обнажив жёлтую сердцевину. Лепестки по краям почернели и сморщились. Позавчера Изольде Марковне исполнилось семьдесят восемь лет.

Это значит, нельзя давать себе ни малейшей поблажки. Суп съеден, чай выпит, посуда вымыта и убрана в шкаф, герань полита. Изольда Марковна ходит по комнате от окна к двери, стараясь держать спину прямо, помахивая руками и покачивая головой. Сегодня хороший день. С утра не стучало в висках, не болят колени, не ноет поясница. Не будь зеркала, сегодня она бы дала себе на двадцать лет меньше.

Но к четырём часам дня силы покидают Изольду Марковну. Она лежит на диване, натянув до подбородка тонкий негреющий плед, и косится в телевизор, работающий без звука. Часы над диваном отщёлкивают каждую секунду — неотвратимо, мучительно, громко. Нет-нет, никаких метафор, никакой лирики об ускользающем времени, просто этот звук… Раздражает. Всё раздражает. И детские голоса во дворе, и рябь по экрану телевизора, и соседский пылесос.

Когда раздаётся стук в дверь, она скидывает плед и бежит открывать без тапочек. Так поспешно, с таким стеснением в груди, с таким жаром под сморщенной кожей щёк… К Володеньке, светлая ему память, шестьдесят лет назад — так не бегала.

За дверью в общем коридоре стоит бледная и несчастная Маша. Давно не мытые волосы заколоты розовыми глупыми финтифлюшками. Из-под мятого халатика торчат тощие босые ноги, на ногтях облупившийся фиолетовый лак.

— Извините, — говорит бедная Маша дрожащим голоском, — у вас, случайно, не найдётся валерьянки?

Изольда Марковна вёдет девочку на кухню, усаживает между столом и холодильником, ставит чайник. Валерьянки нет, но есть настойка пиона. Двадцать капель в крохотную пузатую рюмочку. Маша выпивает, морщится, обхватывает себя за плечи и начинает тихонько всхлипывать.

— Я, понимаете… я всю ночь не сплю. Как лифт на первом этаже вызовут — слышу, бегу сразу к двери, а это на другой этаж. Звонила ему, вот — вытаскивает из кармана халатика блестящий маленький телефон, — тридцать два раза. Ду-у-ура… Самой в семь утра выходить… В девять звоню ему на работу, а он там. Живой, здоровый. Говорит, был в гостях у Максимова, это инженер у них. Телефон, говорит, сел, а зарядка дома. Их там, понимаете, шесть человек было всю ночь. Что же, у всех шестерых денег не было на одну грёбаную смс? Смс, Изольда Марковна, — это…

— Знаю, деточка, знаю.

Она протягивает руку и легко, почти невесомо гладит Машу по голове. И через минуту Маша уже рыдает взахлёб, уткнувшись лицом в шерстяную юбку Изольды Марковны. Такая маленькая девочка, а слёз в ней целое ведро. Сейчас выплачется, и полегчает. Но Маша сквозь слёзы думает о маме, живущей в соседнем доме; о том, что перед мамой нужно держать лицо, всячески показывая, что Серёжа — самый лучший, настоящий джентльмен и идеальный муж; что её собственная, Машина, жизнь сбылась в полном соответствии с мамиными пожеланиями. Додумавшись, что маме-то вот так в коленки не поплачешь, Маша сжимается в крохотный твёрдый комок и начинает задыхаться.

Изольда Марковна встряхивает Машу за плечи и говорит — неожиданно жёстко и громко:

— Послушай меня, Мария. Послушай внимательно, хватит плакать. Ты, Мария, женщина. Красивая женщина. Умная. Разве ты должна всё это терпеть? Ты, Мария, подарок. Ну-ка носик выше, голову подними,

говорю тебе. Ты — подарок. А он тебе — должен. Всю жизнь. Просто за то, что ты есть. Сейчас ты, Мария, пойдёшь домой. Примешь ванну. Сваришь себе кофе. И будешь заниматься чем захочешь. Не ужин готовить, не рубашки его гладить, а книжку читать, например. Или телевизор смотреть. Или сходи к кому-нибудь в гости.

Маша глядит в ее тусклые старческие глаза недоверчиво и заворожённо. А ведь правда… Изольда Марковна, говорят, в молодости была редкая красавица. Муж её на руках носил. Выстаивал очереди за польскими туфельками и литовскими духами. И уж она-то, совершенно точно, никогда ничего не терпела. Она была подарком — и жила с этим знанием так же естественно, как иные дышат.

Изольда Марковна приносит из комнаты маленький стеклянный флакон с гранёной пробкой.

— Мне, Мария, семьдесят восемь лет. И я нигде не бываю. Так что возьми.

Машина жизнь сразу распадается на две части. На ту, где она заплаканная и в мятом халатике, где на плите стоит остывшая гречка, а в ванной — копеечная туалетная вода, пахнущая химическим жасмином. И на ту, где она нежная и гордая, с прямой спиной и красиво уложенными волосами, и пахнет, как положено женщине-подарку, пятой Шанелью.

Маша обнимает Изольду Марковну и крепко целует её в сморщенную напудренную щёку.

За окнами плывёт прозрачный, сиреневый, мокрый мартовский вечер, а в квартире тёплый золотой свет и запах ванили. Изольда Марковна печёт кекс с изюмом и арахисом, раз в пятнадцать минут наклоняется к пышущей жаром духовке, приоткрывает дверцу и смотрит на дело рук своих. И находит, что оно хорошо весьма. И проходя с кухни в комнату, посередине тёмного коридора — от радости, от кухонного жара, от внезапного избытка сил — три раза невысоко подпрыгивает. Как маленькая счастливая девочка.

Ночь будет лёгкой. В комнате будет свежо, одеяло станет мягко ластиться к плечам, и придут хорошие сны.

Но когда тебе семьдесят восемь, радость и сила недолговечны.

Серёжа заходит в четверг — перехватить сотню до завтра. У него усталое строгое лицо. Очень, очень красивый мальчик. Ему пошёл бы серый костюм с ярким полосатым галстуком или синий свитер ручной вязки с белыми оленями — Изольда Марковна за всю жизнь связала три таких. Первый мужу Володеньке, второй сыну Олежке, третий — внуку Коленьке. Коленька, впрочем, не оценил, назвал девчачьей кофточкой и не надел ни разу.

— Ты, Серёженька, проходи, — говорит Изольда Марковна, отступая в коридор, — может, супчику куриного? Ты не стесняйся, вы ведь с Машенькой мне всё равно что внуки.

Съев две тарелки, Серёжа благодарит и нерешительно улыбается, а Изольда Марковна уже наливает чаю — в большую кружку. Все мужчины любят большие кружки, ей ли не знать.

— Машеньке-то готовить совсем некогда, и работа у неё, и институт. Жалко мне вас, молодых, — напевно говорит она, ставя посередине стола плетёную вазу с печеньем и шоколадными конфетами. И когда Серёжа согласно кивает, продолжает: — Хотя у нас всё было подругому. Я вот, Серёженька, замуж вышла в двадцать лет, в двадцать один уже сына родила. Утром работала на заводе, а потом географию вела в вечерней школе. Время-то тяжкое, война только кончилась. Но обед у меня всегда был готовый — первое, второе и третье. Компоты сейчас никто не делает, а я закрывала по сорок банок на зиму — яблочный, сливовый, смородинный. Коля, внучек мой, как из школы придёт — сразу бегом на кухню: мне, бабушка, компотику. А у меня тут и борщ, и котлетки… Завод, школа, — а дом для женщины это всётаки главное. Устаёшь на работе-то?

— Кто же не устаёт, — говорит Серёжа.

— Ты, Серёженька, настоящий мужчина. О семье заботишься. Про деток-то как, думаете?

Закрыв дверь за помрачневшим и тихим Серёжей, Изольда Марковна принимается за вечернюю уборку. Паркет в комнате сияет светлым янтарём, линолеум в кухне переливается розовым перламутром, отцветшие тюльпаны покоятся в мусорном ведре. Она включает проигрыватель — подарок внука на день рождения, серую коробочку, к которой вместо чёрных виниловых пластинок прилагаются серебристо-радужные диски. Солнце садится за тёмные западные крыши, а

живая Изольда Марковна подпевает мёртвой Майе Кристалинской и вытирает пыль с серванта.

Поздним вечером, в постели, она прислушивается к звукам за стеной. Слов не разобрать, но громко, громко, сердито. Но Машины всхлипы и тяжёлые Серёжины шаги по коридору, хлопнувшая дверь, повернувшийся в замке ключ, жужжание лифта.

Значит, Машенька завтра снова придёт. А может быть, заглянет и Серёжа.

Изольда Марковна улыбается и засыпает.

Выходные — это всегда плохо. Молодые так отдыхают в субботу и так устают от этого отдыха, что в воскресенье у них больше нет сил злиться друг на друга.

Маша, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, берёт у Изольды Марковны деньги и круглым кривым почерком пишет в блокнотике: батон белый, зелёный горошек, корица. Серёжа ждёт её у лифта.

— Мы где-то через часик, — улыбается Маша и берёт Серёжу под руку, — вам точно больше ничего не нужно?

Изольда Марковна глядит с балкона, как они выходят из подъезда и идут через двор наискосок. У Серёжи новая шапка и две хозяйственных сумки, Маша сделала химию и покрасила волосы в рыжий цвет. Они замедляют шаг; Серёжа сгребает Машу в охапку и целует в висок возле ярких кудряшек.

Холодно. Тускло. Сердце бьется страшно и неровно.

Нужно просто дожить до понедельника.

Когда тебе семьдесят восемь — это совсем не лёгкая задача.

Лёнька

Лёнька дурак. Точнее, дурачок.

Он учится в обыкновенном девятом классе и однажды получил настоящую пятёрку за доклад по географии, для которого все выходные вырезал картинки из журнала «Вокруг света». Носит аккуратный школьный пиджак и серебряный крестик на вязаной верёвочке. Крестик привёз с Афона один богатый дядька, который часто ходит к отцу Михаилу, а верёвочку связала мама.

Когда-то у Лёньки была совсем другая жизнь. В четыре года он был некрасивым, большеголовым и слюнявым, умел говорить только «дай», «моё» и «нет», ломал и разбивал всё, что попадало в руки, и отказывался понимать, для чего нужен горшок. Он это даже немного помнит. Например, как мама чистила картошку, выдвинув мусорное ведро на середину кухни, а он вбежал и всё опрокинул; и как она кричала — даже уши заложило. Или как мама говорила по телефону, а он крутился под ногами, дёргал то провод, то полу халата, а потом сел на корточки и тыкал пальцем в блестящие накрашенные ногти у неё на ногах, а она отмахивалась — уйди, уйди, не мешай. И как было всё время скучно и холодно, потому что зима, линолеум и колготки.

А потом всё поменялось. Мама вдруг стала ходить в церковь — и стало веселее ждать её с работы, потому что на кухне поселилась лампада, где за голубым стеклом плавал медленный тёплый огонёк. Потом мама начала брать Лёньку с собой и вскоре сумела пристроить его в церковный детский садик. Там Лёнька в два счёта усвоил всё, чему она уже отчаялась его научить: начал ходить на горшок, самостоятельно застёгивать пуговицы и даже разбирать буквы. Потом папа — настоящий папа, приходивший раз в месяц, куда-то исчез, а взамен появился ненастоящий, но намного лучше: весёлый толстый дядька с длинными волосами, который водил Лёньку гулять и учил кататься на велосипеде. С новым папой у Лёньки всё шло хорошо, а мама тем временем родила ему братика Матвея и сестричку Олю. Когда купили двухъярусную кровать и разрешили ему занять место сверху, жизнь стала окончательно похожа на сказку.

Когда Лёньке было семь с половиной, мама отвела его в школу. Она очень волновалась, а Лёнька ни капельки — и правильно, потому что его взяли в первый класс, не сказав маме ничего плохого.

В пятом классе Лёнька находит фотографию в коробке с открытками. Там мама, худая, усталая и злая, с крашенными белыми волосами и яркими губами, держит его на руках. Он некрасивый, у него тоненькая шея и косит левый глаз; сразу видно, что дурак. И сразу понятно, отчего мама такая усталая.

— А если бы она не стала ходить в церковь, то отдала бы меня, наверное, в детский дом, — думает Лёнька, охваченный внезапным ужасом. Не в силах этого ужаса вынести, он залезает к себе на верхний ярус, накрывается с головой и шепчет, отплёвываясь от одеяльной шерсти: «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!» — и чувствует, как из уголков глаз за уши течёт горячее, и еще чувствует, что Бог есть, он прямо здесь, он смотрит на него сверху сквозь одеяло и улыбается.

Перед сном он молится за маму, папу, отчима, Матвея, Олю, классную руководительницу Веру Антоновну, отца Михаила, библиотекаршу Любовь Александровну и физрука.

К девятому классу в Лёньке целых сто семьдесят сантиметров росту; уже ясно, что он красивый мальчик, хоть и дурачок. По-взрослому, даже по-стариковски обстоятелен и серьёзен. Невыносимо, неприлично наивен. Зануда и моралист. Честный троечник. Ни разу не был бит, потому что ангельскую природу его слабоумной наивности даже непрошибаемые одноклассники почуяли сразу.

Обречённо-тоскливое выражение на красивом лице.

Дурак, понимающий, кто он такой, не перестаёт быть дураком. Он просто становится очень несчастным.

Лёнька уже знает, что не будет никакого десятого класса. Разве что училище, если очень повезёт и получится сдать экзамены. Он высиживает свои жалкие тройки вечерними часами и целиковыми выходными с помощью мамы и отчима, и то сомневается, не жалеют ли его учителя. Лёнька всё же надеется, что Бог его не оставит.

В церкви он смотрит на девушек. У них волосы торчат из-под платков. Там есть одна Света, у нее всё торчит — волосы, нос, губы, груди,

тонкие плавные руки из рукавов. Жалко только, старая: двадцать два года.

Потом Лёнька вспоминает, что отчим старше мамы на двенадцать лет, и начинает смотреть на совсем маленьких девочек. Они одинаково закутаны в огромные платки, одинаково хнычут, не хотят стоять спокойно и просятся домой. Ему смешно и странно думать, что вот это глазастое, капризное и безмозглое существо — может быть, его будущая жена.

И ещё нужно будет попросить у отца Михаила какую-нибудь работу в церкви, пора привыкать.

Бог про Лёньку не забывает, но и дьявол не дремлет.

У дьявола фамилия Терехов, он сидит за левым плечом, за четвёртой партой. Лёнька всё время чувствует, как от него пахнет туалетной водой. У него зализанные волосы, белая рубашка и чистые ногти. Он курит на переменах и пьёт пиво после школы. Он отличник. Иногда после большой перемены у него весь воротничок в помаде. И ему ничего, совсем ничего за это не бывает.

Поначалу Лёнька всё ждёт, что скоро свершится справедливое возмездие. Стоит Терехову опоздать к первому уроку, Лёнька уже начинает представлять себе, как сейчас вбежит заплаканная завуч и скажет: «Дети, Витю Терехова прямо у школы сбила машина». Стоит ему заболеть и не прийти к первому уроку — Лёнька думает, что теперь-то он обязательно умрёт.

Однажды Витя Терехов опаздывает на автобус и едет в школу маршруткой, а на дворе середина января и гололёд. За остановку до школы маршрутку выносит на тротуар, и она врезается в ограждение подземного перехода. Лёня сидит в классе и слышит, как едут скорая и милиция, но ещё не знает, куда. Раненых увозят в больницу. Девочку Милу из восьмого «А» — Лёня видел её в церкви и знает её маму — везут сразу в морг. А Витя Терехов, совершенно целый, без единой царапины, весь белый и как будто замороженный, посреди урока входит в класс и садится на свое место. Русичка спрашивает, что случилось, а потом посылает Лёню за медсестрой, потому что Терехов только открывает рот, но не может ничего ответить.

С ним непременно надо поговорить, — решает Лёня, — он же неплохой человек, Бог ведь не случайно его спас, это Он показывает, что Терехов ещё может раскаяться.

Через два дня он подходит к Терехову и, смущаясь, мямлит что-то про грехи и Божий замысел. Получается совсем не так хорошо, как он себе представлял. Даже сам перестал понимать, что хотел объяснить.

Терехов поднимает на него красивые злые глаза и отчётливо говорит: «Пошёл к чёрту».

Вот тогда-то Лёнька понимает, что пропал.

Бог есть. Есть, конечно, как иначе. Но мир устроен несправедливо — он это своими глазами видел. По отдельности всё в порядке, а вместе две этих мысли не умещаются в бедной его голове.

Лёнька достаёт из холодильника мороженое и съедает один, не поделившись с младшими. От холода немеет язык и ломит зубы, и мороженого больше не хочется, но он выскребает обертку ложкой, чтобы ни капли не осталось. Со стены наблюдает святой Николай, лицо у него непроницаемое и доброе.

Лёнька дает подзатыльник Оле, изрисовавшей фломастерами его тетрадь по алгебре, — и ничего не происходит. Оля так удивлена, что даже не плачет и не бежит жаловаться.

Ему начинает казаться, что Бога все-таки нет.

Вскоре Лёнька решается на страшное преступление. То, что он задумал, в любом случае кончится плохо. Ему суждено либо остаться в мёртвом одиночестве, в неподвижном, неодушевлённом и несправедливом мире, либо погибнуть, понеся заслуженное наказание за грехи. Он крадёт несколько бумажек из маминого кошелька, покупает в киоске бутылку какого-то вина, пачку каких-то сигарет и шоколадку «Вдохновение». И едет на улицу Чкалова к Люсе. Люся — дурная девушка, все так говорят: она носит короткие юбки, курит, спит с кем попало, и в левом ухе у неё четыре серьги, а в правом ни одной. Зато она очень красивая. Это тоже несправедливо, ведь Богу ничего не стоило сделать Люсю уродиной, чтобы она думала не о мужчинах, а о душе. Наверное, Он посылал ей испытание, а она не выдержала, — думает Лёня.

Дверь открывает Люсин младший брат, Лёха из десятого «Б», а сама она спит на тахте в кухне, укрывшись пледом. «Не такая уж она и красивая, если не накрашенная», — разочарованно думает Лёнька. В комнате на полу — видит он краем глаза — складывает кубики крошечная девочка в красных колготках. Лёха эту девочку сразу подхватывает на руки, натягивает на неё шапку, комбинезон и сапожки, вывозит в коридор детскую коляску, и дверь за ними закрывается.

А Люся сидит на тахте и глядит на Лёньку устало и удивлённо.

А когда он вытаскивает из пакета вино, сигареты и шоколадку, глаза у неё вылезают на лоб и прямо там остаются.

— Может быть, надо ей руку поцеловать, — думает Лёнька. — Или сказать, что она очень красивая. Или…

— С ума сошёл, — думает Люся. Про себя, конечно, но у Лёньки в голове так звонко и отчётливо отдаётся её голосом — «С ума сошёл!» — что он заливается краской и почти не может дышать.

— Может, чайник поставить? — спрашивает Люся.

Они сидят на кухне вдвоём, Лёнька скребёт ногтем присохшее пятнышко варенья на клеёнчатой скатерти, Люся греет руки о чашку и глядит в сторону. Время идёт. Лёнька решается наконец — и выкладывает всё как есть. Всё, о чём думал в последние несколько недель. Всё, что разрывает изнутри, душит сознанием страшной несправедливости, не даёт жить. Что всё — есть, а вот Бога, кажется, нет.

Люся заливается хохотом. Из-под длинных ресниц градом катятся весёлые слёзы, нежная бело-розовая шея вздрагивает, и всё остальное, что ниже, в вырезе халата, вздрагивает тоже, и Лёнька не знает, куда девать глаза.

— Знаешь, — говорит она, отсмеявшись; и Лёньку пробирают мурашки от её внезапной вдохновенной серьёзности, — есть один-единственный способ дать Богу проявить, что Он есть. Ты ведь как бы его принуждаешь, заставляешь наградить тебя за хорошее, наказать за плохое… а Он больше, Лёнь. Больше всего хорошего и всего плохого, больше награды и наказания. Нужна случайность.

— Чего? — обалдевает Лёнька.

— Случайность. Давай, например, сыграем в карты. В дурака. Выиграешь ты — Бог есть. Выиграю я — Бога нет. Если Он есть, ты обязательно выиграешь.

Но от одного взгляда на карточную колоду Лёньку охватывают такие ужас и отвращение, что Люся всё понимает.

— Хорошо, — говорит она. — Пойдём в комнату.

Она вытаскивает из-под кровати «Денди», настоящую старую приставку. «Денди» — это тоже нехорошо, но лучше карт. В карты нельзя играть, потому что грех, а в приставку — только потому, что надо делать уроки, и ещё потому, что у мамы нет денег её купить.

— Давай в «Мортал Комбат!» — говорит Люся, ловко втыкая проводки куда-то под телевизор, — на пару. Выиграешь ты…

— Я понял, — сумрачно говорит Лёня, садится на пол и берёт джойстик.

Он так и не узнает, есть ли Бог, потому что этажом выше уже прорвало трубу с горячей водой, вода уже просочилась в щели между бетонными панелями и подбирается к проводке. Через пять минут случится короткое замыкание и весь подъезд останется без света.

Оксана

Цветные фотографии Оксана забирает в «Кодаке», а чёрно-белые сама печатает в ванной. Дело это тихое и неспешное: ей нравится занавешивать клеёнкой необъяснимое окошко из ванной в кухню, затыкать щель под дверью старым одеялом; нравится красная старая лампа и отцовы заслуженные кюветы в трещинах и рыжих пятнах.

Отец в это время на кухне, он разогревает ужин, или смотрит футбол, или курит в форточку, время от времени постукиваясь к Оксане и спрашивая: «Как ты там? Чего копаешься?»

Показывать ему фотографии — удовольствие, по правде, то ещё.

Он никогда ничего не слушает.

Сейчас Оксану занимают странные человеческие контрасты. Например, вот эта девушка, у которой спутанные волосы, обнажённое плечо и многообещающие губы, на самом деле ещё школьница, примерная отличница, к тому же дочь протестантского пастора. А вот эта, с высоким лбом и умными глазами, ожившая картина Вермеера, потому что такой поворот головы и такой безмятежный взгляд — дурочка из понаехавших, пэтэушница, деревенская клуша. А эта трепетная Суламифь, обнимающая полудетской рукою огромный бронзовый кувшин, и не Суламифь вовсе: её зовут Айдан, она уборщица в соседнем доме.

— Смотри, — говорит Оксана, — это Люба.

На фотографии девочка-подросток с недобрым и ярким лицом, в ней тоже есть загадка, и хорошо бы папа сам понял…

— Правда, красавица? — хитро спрашивает Оксана.

Папа равнодушно скользит взглядом по чёрно-белому глянцу и говорит: ты не хуже.

Он всегда так говорит.

«Глупостями занимается моя девочка», — вот что написано у него на лице. Виданное ли дело — изводить плёнку и время на красивых тёток. С них и мыльницы было бы достаточно.

Он глядит на свежеотпечатанное фото Оксаны — та сидит на подоконнике в белой майке и широких штанах, грустная, руки у неё не

женские — жилистые и крепкие, и стрижка под машинку, и подбородок мальчишеский, тяжёлый и резкий. Как бы у неё спросить, думает он, неужели напрямую: «Девочка моя, ты часом не того… не по бабам?»

Непохожа на мать, и то хорошо. Мать в её возрасте была тонкая, вся будто вытянутая вверх, нежная, необыкновенная, сплошное сияние глаз и облако волос, но что-то случилось с ней потом, что-то не удержалось на месте, поплыло, растворилось, покинуло её, и с годами она превратилась в обычную непримечательную тётку. С Оксаной, целиком состоящей из резких линий, такого не случится даже к глубокой старости.

Сомнения рассеиваются, когда Оксана приводит домой Володю, такого же высокого, угловатого, с крепкими и длинными руками. Это любовь, понимает папа. Это она, дурочка, из кожи вон лезет, пытаясь быть похожей на Володю как сестра-близнец; отсюда и стрижка эта, и майка, и гантели по утрам.

Володя снимает натюрморты, он медлителен и флегматичен. Покупает на вернисаже любопытное старьё, придирчиво выбирает фрукты в ларьках, всерьёз и долго выставляет свет. Оксана всё суёт ему под нос своих цветных и чёрно-белых девочек, всё рассказывает про них, сверкая глазами, а Володя только глянет вскользь — и говорит: ты не хуже. У папы от этого просто камень с сердца: надо же, какой хороший парень.

Когда всё только начиналось, Оксана с некоторой гордостью полагала себя существом меркантильным и циничным. Красивые женщины любят себя и хорошо платят за фотосессии — значит, нужно снимать их и брать деньги. А ещё нужна практика и ещё раз практика, нужна твёрдая рука и узнаваемый стиль, нужно хорошее портфолио, в конце концов.

И однажды, пытаясь поймать тёплый блик на загорелой коже незнакомой красивой девочки, она почувствовала вдруг, как сжимается горло от восторга и нежности. Будто бы Оксана сама своими руками слепила её из глины, вдохнула душу и выпустила жить. Так, должно быть, Господь любит своих детей, с таким же мучительным восторгом глядит на них сверху. Это было страшно. Страшно и радостно. Чтобы никто не догадался, Оксана презрительно щурилась, делала

безразличное лицо и говорила: такая жизнь, такое время, такая работа, я продаю свой влюблённый взгляд.

Девушку Веру она просто-напросто украла. Подглядывала, как серьёзный юноша фотографировал её лежащей в кленовых листьях. Как он поправлял ей волосы и перекладывал её тонкую белую руку, будто неживую. Проследила Веру до дома, на следующий день подошла и познакомилась.

Ездили под Тверь в заброшенную деревню; Вера ходила босая по заросшему кипреем пепелищу, Оксана снимала, неудобно примостившись на уцелевшем крыльце. Ходили за город, где товарная узкоколейка; Вера в красном платье прижималась щекой к ржавому вагону, глядя мимо объектива.

Одно было плохо: Вере эти фотографии совершенно не нравились. Чтобы Веру не упустить, Оксана иногда снимала её в студии — с зачёсанными набок волосами, накрашенными губами и в цветастой блузке с глубоким вырезом. Сидящей на стуле с широко расставленными ногами, обтянутыми чёрными колготками. Стоящей у стены в неестественной вычурной позе. Это ей было по душе, за это она благодарила и чмокала в щёчку, а иногда даже — как настоящая подружка — легонько толкала локтем в бок и спрашивала: «А я всё же ничего, скажи, Оксан?»

— Это Вера, — говорит Оксана, выкладывая на кухне фотографии перед папой и Володей. — Она совершеннейшая идиотка, хотя так сразу и не подумаешь. Красивая, правда?

— Правда, — говорит папа и надевает очки, чтобы рассмотреть получше.

— Правда, — говорит Володя.

Оксана наливает себе суп и быстро ест, обжигаясь, кроша в руке чёрный хлеб, переводя недоуменный взгляд с Володи на папу, не понимая, откуда взялось чувство, будто её предали.

Анка

Анкой-сыроежкою прозвали беззлобно.

Намозолила соседям глаза, во всякую погоду чапала из лесу, смешно вскидывая тоненькие ноги в громадных резиновых сапогах, удерживая на боку, на косом ремне, плетёный грибной короб.

Подойдёт к сидящим на лавочке у подъезда, улыбнётся, поздоровается, скажет смущённо: одни сыроежки сегодня, вот.Со спины вовсе подросток, а в Анкины годы казаться со спины подростком нельзя: пусть маленькая собачка и щенок до старости, но когда невесомый щенячий скелет, хрупкая детская арматура, во всяком положении притягивающая взгляд, начинает подчиняться таянию скудной оплывающей плоти, то человек становится жалок и нелеп.

— Ты пойди, — говорят детям, слишком рано вернувшимся из школы, — к Анке-сыроежке.

Детям она тёть Аня: выдаёт большие не по размеру тапочки, провожает в ванную мыть руки, наливает суп, мельчит ножиком укроп, и как только тарелка пустеет, водружает на стол хрустальную конфетницу с крошечными вафлями, подсохшими зефиринами и криво наломанными квадратиками шоколада. Будем пить чай, говорит. Потом усаживает в мягкое комнатное кресло, включает телевизор и выдаёт пульт, а сама идёт заниматься своими неведомыми сыроежкиными делами. Потом приходит мама забрать домой, чмокает её в щёку и умилённо лепечет: как бы мы без тебя, Анечка.

Ходит и в дождь, и в трескучую опасную жару, собирает грибы и ягоды, набирает в алюминиевую фляжку тёмную воду из болотного родника, дома остервенело оттирается жёсткой мочалкой, вычищает из-под ногтей грибную грязь, прижигает йодом комариные укусы. Грибы сушит, морозит, раздаёт соседкам, из ягод варит варенье, травы запасает на зимний лечебный чай. Леса она не просто не любит: терпеть не может, боится до гадкой дрожи в худых коленках, но иначе нельзя, как иначе прожить.

Сыроежкины дела — штука непростая.

— Да всем ясно, — говорят на лавочке у подъезда, — что за грибы она там собирает.

Это потому, что ходят к Анке молодые люди сумрачного вида. Знамо дело, наркоманы.

— Вам бы всё языки чесать, — заступается Тамара Никитична из второго подъезда, — учительница она была. В музыкальной школе работала, теперь на пенсии. А это ученики её. Наркоманы на таких машинах не катаются.

— Учительницей, — язвительно говорит Зинаида Егоровна из третьего, — конечно. Где ж тогда её пианина?

И все переглядываются, потому что никакой пианины у Анки-сыроежки нет. Сороковая квартира самая тихая в доме, там даже тапочки по ночам не шаркают: лёгкая Анка летом ходит босиком, а зимою в толстых шерстяных носках.

— И потом, — не унимается Зинаида Егоровна, — почём ты знаешь, на каких машинах наркоманы ездят?

— Да перестань ты, — смеётся Тамара Никитична, — у меня Колька с ней три месяца сольфеджио занимался. Без всякого фортепиано, в тетрадке. На четвёрку сдал.

— А я, — со значением говорит Зинаида Егоровна, — Мишу к ней на пушечный выстрел не подпущу.

И все вспоминают, как Миша чуть не сделался заикой из-за Анки. Хотя скорее, конечно, из-за неудержимой своей фантазии и любви к страшному кино. Дело было так: забрался мальчик на корявую старую ветлу против Аниного окна — как раз той комнаты окна, где она занимается своими странными делами, а не где телевизор. И увидел, что Анка сидит в темноте с закрытыми глазами, а лицо у неё синее и светится. Потом она глаза как откроет! Как на Мишу посмотрит! А глаза у неё сплошь чёрные! Тут-то он с ветлы и сверзился, и дар речи потерял. Скоро отошёл, конечно, и бабкою был отруган за то, что сидит каждый вечер у телевизора, но осадок остался.

Тамара Никитична с большим сомнением оглядывается на безобидное окно сороковой квартиры. Там бежевые шторы в оранжевую полоску и столетник на подоконнике.

— Да ладно, — говорит она, — хватит уже. Вот она сейчас выглянет, а мы на неё смотрим, дуры старые.

Но Анке некогда выглянуть — у неё гости: тихий прозрачный Олег и долговязая нескладная Маша. Они сидят на полу, спинами к

книжному шкафу, а хозяйка за столом, у раскрытого ноутбука. Кроме стола, кресла и книжного шкафа в комнате живут музыкальный центр, огромные — в человеческий рост — колонки и сабвуфер.

Маша вдруг обхватывает себя за плечи, как будто замёрзла, и говорит: ой.

— Ага, — подтверждает Олег. — Ещё какое ой. Длинная она?

— Семь минут двадцать три секунды, — говорит Анка.

— В самый раз. Если что, закольцую.

— А когда в самом начале зашумело, — спрашивает Маша, — если я этот шум подчищу, остальное… останется?

— Это случайно, — говорит Анка, — там рядом трасса была. — Не знаю, может, и останется. Потом шесть с половиной минут чистых, вам всё равно закольцевать. Могу тысячу скинуть.

— Берём, — говорит Олег. — Разоришь ты меня однажды. Научила бы, а?

— Секрет фирмы, — смеётся Анка.

— Приезжай в «Дом» седьмого числа. Мы первыми выступаем.

— Не знаю, — говорит Анка. — Может быть.

Всё это время в комнате тихо. Ни музыки, ни иного звука, кроме человеческих голосов.

Лето в этом году выдаётся лучше всех: и солнца достаточно, и дождей в меру, и к августу рынки и лотки полны грибами — бери не хочу, люди и берут, и несут домой красноголовые подосиновики и крепкие боровики, попутно докупая картошки, лука и сметаны, предвкушая ужин.

— А что бы Анке тоже грибы не продавать, — говорит кто-то на лавочке. — Хорошее вышло бы подспорье. Живёт она бедно…

— Ага, бедно! — возмущается Ленка, молодая мама, принуждённая коротать время с коляской у лавочки. — У неё одни кеды стоят как всё, что на мне надето. Если не больше.

Тогда к Анке начинают приглядываться, это такое соревнование или даже спорт: кто заметит больше признаков безбедной жизни. Соревнование непростое: Анка скромная, машины у неё нет, телевизор старый. Стиральная машинка, правда, новая, но это всякий может себе позволить, если подкопить. Теперь Анку, выходящую из подъезда, жгут и едят глазами. Кто-то углядел в её крохотных серьгах бриллианты — фианиты, дескать, так не блестят. Татьяна Егоровна

даже переписывает в блокнот лейблы с Анкиной одежды, если удаётся рассмотреть, а дома гоняет Мишу посмотреть в интернете, что это за фирма и дорого ли стоит. Два раза — с джинсами и сумкой — убеждается, что да, дорого. Не запредельно, но нормальный человек не станет тратить такие деньжищи на ерунду. Нормальный человек тратится на детей. Или на технику. Или на ремонт. Или откладывает понемногу. И точка.

Выигрывает соревнование в итоге Ленка. Она отправляется в самый дорогой парикмахерский салон, чтобы сделать стрижку и укладку к годовщине свадьбы, где первым делом видит кругло остриженный сыроежкин затылок под руками и ножницами вдохновенной мастерицы.

— Анка, — бесхитростно повествует мастерица, — постоянная клиентка, ходит раз в два месяца, вот уже сколько лет. Это она нас рекомендовала?

— Живут же люди, — вздыхает Ленка. — Что-то нечисто с нашей сыроежкой…

Тамара Никитична, как обычно, заступается. Может, говорит, у неё бизнес, а эти парни, что к ней ходят, — работники. Сейчас многие на дому работают. Может, говорит, она репетитор, а они из музыкального училища. А может, она наследство получила. Или в лотерею выиграла. О таких вещах, сами знаете, соседям не распространяются.

Раскалывают Анку случайно. Она как раз пришла из леса, встала у лавочки, короб свой на травке примостила, Тамаре Никитичне выдала три крупных чистых боровика на грибную вермишель и букетик зверобоя. Стоит, с ноги на ногу переминается, хихикает, скромницу из себя строит, о погоде спрашивает. И тут из-за угла подваливает парень длинноволосый, мрачный такой, весь в чёрном, зовёт её в сторонку, что-то втолковывает и деньги суёт. Причём видно, что нормальные деньги, купюры зелёненькие. Ленка от любопытства к ним с коляской подкрадывается, делает вид, что ляльку по двору катает, развлекает. И слышит, как парень этот говорит: «забрало меня» и «два дня отойти не мог».

И по всему выходит, что Зинаида Егоровна права насчёт наркоманов.

Скучно-то.

А этого обитатели лавочки у подъезда стерпеть никак не могут.

Полицейским в Анкиной квартире неуютно. Анка хрупкая и несчастная, на ней чёрная водолазка и клетчатая юбка, она такая седенькая, такая аккуратная, такая учительница, такая отчаянная ненависть исходит от неё — ненависть несправедливо обиженного хорошего человека — что хочется бросить всё, извиниться и уйти.

— Толя мой бывший ученик, — говорит она, изображая надменный тон, до белизны сжимая испуганно трясущиеся руки. — Он снимает комнату, почтовый ящик сломан, извещения крадут. Коллекция дисков. Лучшие исполнения Вивальди. Да, забрало. Да, два дня отходил. Эти курицы думают, что так бывает только от наркотиков? Мне жаль их внуков.

— Он подтвердит?

— Разумеется. Если, конечно, эти — презрительный кивок в окно, где подразумевается лавочка у подъезда, — видели именно Толю. Молодые люди, знаете ли, часто живут там, где проблемы с почтой. Часто приходят ко мне. Я никогда не отказываю ученикам в помощи. Пусть заказывают на мой адрес. И книги, и диски. Вот, пожалуйста, квитанции с почты. Лишнего я с них не беру — сколько в квитанции написано, столько и отдают. Хотите — забирайте, ознакомьтесь.

— Извините, — сокрушённо говорит тот полицейский, который помладше. — Мы на кухне всё поставили как было. Банки, может, не в том порядке.

— Я переставлю, — снисходительно отвечает Анка. — До свидания.

И закрыв за ними дверь, возвращается в комнату, подходит к окну, упирается лбом в стекло. Утро ещё раннее. Накрапывает мелкий дождь. Лавочка у подъезда пуста.

— Значит, так, — вслух говорит Анка. — Так…

Не страшен дождик Анке-сыроежке: сапоги у неё резиновые, ветровка непромокаемая, штаны болоньевые, а в коробе, кроме ножа для грибов и банки для брусники, термос с горячим какао. Она идёт привычной дорогой, огибая старое пожарище и болото, проваливаясь по щиколотку в мокрый мох, подрезая на ходу розовые волнушки и чёрные грузди. Вот здесь, — думает Анка, — в прошлый раз это было здесь.

— Дай, — думает Анка, глядя в непрозрачное серое небо над лесом. — Дай, мне нужно.

Она садится под большой елью, извлекает из нагрудного кармана ветровки диктофон, прилаживает микрофон, долго возится с кнопками, привязывает всё это бечёвкой к еловому стволу, закрывает глаза и ждёт.

Проходит пять минут, потом ещё пять. Ничего не происходит, кроме шелеста дождя и дальних гудков на железной дороге. А потом Анка уже не сидит — лежит скорчившись на усыпанной рыжими иголками земле, скребёт её коротко обстриженными ногтями, последним усилием воли заставляя себя не подносить грязные руки к лицу, не затыкать уши, это не поможет. И ещё молчать, молчать, не издавать ни звука, чтобы не испортить запись. Высоко, высоко над Анкой качаются чёрные ели, и чёрные корни оплетают Анкину седую голову, пробираясь по сырой земле и врастая в барабанные перепонки. А потом всё кончается.

Анка переворачивается на спину, пустыми глазами следит светлые перекрестья веток в мокрой хвое, ощупью достаёт из кармана упаковку нитроглицерина, кладёт под язык таблетку, медлит немного, поднимается, отряхивается. Дождь уже не идёт.

— Волнушки пошли, — беззаботно говорит Анка, проходя мимо лавочки, — пока мало, груздей больше, но на засолку уже набрала.

И, не задерживаясь, чапает в подъезд — мокрая, грязная, в хлюпающих сапогах.

— Откупилась от ментов-то, — шепчут за спиной, но Анка слышит.

Дома она заливает грибы водой в ведре, отмокает в душе, отчищает ногти, надевает махровый халат и тёплые носки. Садится к ноутбуку. Подключает колонки и сабвуфер, подсоединяет диктофон. Запись длится двадцать две минуты, первые десять сразу отрезать, это пока ждала, там ничего нет. А вот отсюда можно запускать.

Анка лезет под стол за открытой бутылкой травяного ликёра, делает большой глоток из горла, выкручивает колонки на полную громкость и нажимает Play. И никакого слышимого звука не выходит из огромных колонок в драгоценных деревянных корпусах.

Через минуту начинает плакать Ленкина девочка — сначала как все дети, а потом беспокойно и страшно, уходя в захлёбывающиеся высокие ноты.

Наверху кто-то судорожно, едва не вырывая ручки из рам, открывает и распахивает настежь окна.

В подъезде кто-то бежит вниз по лестнице.

Анка сидит неподвижно, прижав раскрытые ладони к ушам. Это не помогает. Она уже слышала, ей привычно. Но всё равно тяжело, так тяжело…

И наконец становится тихо. По-настоящему тихо, по-городскому, это когда за домом едут машины, а в кустах галдят воробьи.

В конце улицы поёт сирена, приближаясь. Анка не выглядывает в окно, и так зная, что это «скорая». Хорошо бы не к Тамаре Никитичне. Её всё-таки немного жалко. Но даже если это к Тамаре Никитичне — завтра в то же самое время Анка всё равно нажмёт Play.

Потому что они первые начали.

— Ты слушала? — спрашивает Олег.

— Нет, — пожимает Анка плечами на ходу.

— Зачем я тебе диски таскаю, спрашивается? Никогда ничего не слушаешь, а сама…

— Зачем мне слушать мёртвых болгар?

— Аня. Ну, Аня! Это группа такая. «Шесть мёртвых болгар». Это очень, очень круто. Ну, может, не в том смысле, что объективно круто, но даёт понятие, откуда ноги растут у современных индастриал или дарк эмбиент…

— А, то есть на самом деле они живые?

— Тьфу ты! — Олег понимает, что Анка не издевается. В её картине мира вполне возможно существование группы, состоящей из мертвецов. — То есть ты вообще ничего не слушаешь из моего?

Анка задумывается.

— С колокольчиками была. Мне понравилось.

— Что с колокольчиками?

И Анка, вышагивая по свежему снегу в узких остроносых сапожках, тоненько напевает мелодию.

— Это Seven Pines, “Les Amants”. Машка принесла, наверное.

— Значит, Машка. Но мне понравилось. А остальное нет.

— И Sal Solaris нет?

— Вообще не помню. Я женщина старая, консервативная, люблю Моцарта.

— Нет, я всё-таки не понимаю… Мы, кстати, с Машкой разбирали фонотеку, я тебе ещё дисков набрал. Мы сейчас на чемоданах, хозяйка выселяет с нового года, так что не знаю, когда в следующий раз…

— А переезжайте к нам, — предлагает Анка. — У нас половина дома пустая. Все съехали и все сдают. Говорят, нехорошее место. Но ты же такое любишь? Вовка уже два месяца живёт. Илья с семейством как раз вещи перевозит.

— А хорошая идея, — говорит Олег.

Инна Викторовна

Инне Викторовне страшно. Она зажмуривается, но не до конца, чтобы глядеть под ноги сквозь щёлочки, защищённые ресницами, и мелко семенит через переход, и лепечет про себя: Отче наш, Иже еси на небеси, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси...

На «небеси» переход кончается и начинается твёрдая земля, суша, спасение. Инна Викторовна выдыхает, открывает глаза и шустро ныряет в стеклянные двери гастронома. Гастроном хороший, правильный. Пахнет старыми холодильниками, вентилятором, квашеной капустой. Возле дома магазин большой, всего много, но внутри у него страшно. Там есть охрана. Она может подумать, что Инна Викторовна украла что-нибудь, и обыскать. Нетушки.

Так она стоит и радуется, что дошла живая и невредимая. А в витрине всё очень хорошо: лежит красивый жёлтый сыр, розовая варёная колбаса и коричневая копчёная, а посерединке для украшения искусственная гроздочка винограда. Клеёнчатый листик сморщился и почернел сбоку, а на прозрачных пластмассовых ягодах по краям некрасивые швы, но всё равно хорошо смотрится.

— Денег нету, мать? — спрашивают откуда-то слева и сверху.

Инна Викторовна оборачивается и глядит вверх. Над ней нависает двухметровый и молодой хороший мальчик, розовощёкий, одетый почти по-военному, обросший рыжеватой редкой бородкой. Большие всегда такие страшные... Она прижимает сумку к груди и смотрит умоляюще — не надо, хороший, не надо, я старенькая бабушка, на что я тебе сдалась...

— Денег, что ли, нету? — повторяет мальчик. — Одна живёте?

— Одна-а, — придушенно говорит Инна Викторовна, — не-е-ту.

У мальчика становится свирепое лицо и краснеют уши. Она не боится больше: больше — некуда.

— Болеете чем-нибудь? — спрашивает он.

Инна Викторовна хлопает глазами и молчит.

— Есть вам всё можно?

Она кивает изо всех сил, наконец разобравшись, что мальчик злится не на неё.

Хороший мальчик покупает полкило сыра, батон варёной колбасы, зелёный горошек, банку сметаны, пакет гречки, чёрный и белый хлеб, спрашивает: сладкое едите? — и мучит продавщицу, выбирая торт, указывает на Инну Викторовну большущей уверенной рукой и спрашивает: вы представляете, сколько она этот торт будет есть? Какой крем? — и они с продавщицей сходятся на вафельном в шоколаде. Мальчик принимает из рук кассирши объёмный пакет и говорит Инне Викторовне: не донесёте сама. Где живёте?

Счастье, Господи, какое счастье идти через эти проклятые переходы — три штуки — вцепившись в надежную горячую руку.

У Инны Викторовны дома Толя, так зовут его, ходит по комнате в носках — тапочки не налезли, разглядывает фотографии, пришпиленные булавками к обоям, трогает светильник — паровозик с красными стёклами кабины на латунной подставке, где выгравировано: «Иннушке в день 40-летия от любящей подруги Анны».

— Анна вот она, — показывает Инна Викторовна пожелтевшую карточку. Кудрявая толстая тётушка в стрекозиных очках довольно щурится под лучами солнца, снизу выведено красивым почерком: «Сочи, 1985 г.» — Сердце у неё было больное. В тот самый год приехала из Сочи, прошла неделя, легла спать и не проснулась. А больше подружек не было у меня…

Инна Викторовна поит Толю чаем; отчаянно стесняясь, вытаскивает из кухонного шкафа блюдце с окаменевшими баранками. И тут вспоминает про торт и вообще про пакет, и предлагает накормить ужином, но Коля отказывается наотрез. На кухне всего две фотографии в одинаковых металлических рамках. С одной улыбается мужчина в военной форме, с другой пухленькая девочка в крутых русых кудрях.

— Это Шурочка, Александр Петрович, — рассказывает Инна Викторовна, — всего два года мы прожили, он поехал к родителям своим зимою в Псков, а там мальчик под лёд провалился… Его он вытащил, а сам заболел воспалением легких, в Пскове и умер, там и похоронен. В газетах про его поступок писали. На могилке у него пять лет уже не была. Дорого ездить, да и старенькая я стала… А мальчик тот подрос и нашёл меня, письма писал, — тянется к деревянному сундучку на подоконнике, показывает тетрадные листы, где на каждом сверху выведено школьным почерком: «Дорогая тётя Инна!», даже в гости потом приезжал… С девяносто третьего года писем от него не было…

А это моя Настенька. Было ей шесть лет и два месяца. Так и не знаю, чем заболела… И врачи не знают. Сгорела за три денёчка. Вся была горячая, как печка. Я всё ей конфетки ношу, знаешь, батончики такие, в красной обёрточке с жёлтеньким, любила она их…

У Инны Викторовны на глазах солёные непроливающиеся линзы. У большого мальчика Толи непривычно перехватывает горло.

— Можно, я буду к вам приходить? — спрашивает он.

И потом, одеваясь в прихожей, ещё спрашивает: может быть, вам в Псков нужно? Вы не стесняйтесь, я помогу.

Инна Викторовна от шеи до самых волос заливается тяжелым удушливым жаром. В кармане кофты так и лежат деньги, не потраченные в магазине. И под матрасом есть немножко. И ещё на самый крайний случай в шкафу под бельём.

— Не надо, Толенька, — честно говорит она, — страшно мне ехать. Старенькая я.

Потом, когда Толя уходит, нужно помыть посуду и вынести мусорное ведро. С посудой Инна Викторовна справляется отлично, а вот с ведром снова страшно. В мусоропроводе бывают крысы. Ведро приходится опорожнять зажмурившись, а это неудобно. Как-то раз Инна Викторовна промахнулась, немножко мусора вывалилось на пол, пришлось подбирать и выкидывать всё по отдельности, а мусоропровод был открыт, зиял грязной чернотой… тогда она всё хорошо выкинула, без крыс, но с тех пор боится еще больше. Но как только она открывает дверь, надев специальные клеёнчатые тапочки для подъезда, из квартиры напротив выскакивает молодая хорошая Люда с мусорным пакетом и говорит: добрый вечер, давайте мне ведро. И шуршит тапочками к мусоропроводу, грохочет там, и спускается, и ведро возвращает.

Перед сном Инна Викторовна идёт на кухню в ночной рубашке и байковом халате поверх. Садится за стол, подпирая рукой щёку, и бормочет:

— Господи! Расскажу Тебе, что был хороший день. Обо мне заботились Твои ангелы Анатолий и Людмила. А я им всё наврала, потому что боюсь. Так что, может, и зря Ты меня любишь…

На следующий день погода плохая, моросит мелкий дождик, а Инна Викторовна ходит по блошиному рынку на Удельной, прикрываясь зонтиком с вывернутой спицей. Сначала покупает гипсовую кошечку с битой лапкой — очень уж хороша; убирает в карман куртки и застёгивает на кнопку бережно. Потом фотографию, раскрашенную фломастерами, — смеющуюся белозубую даму с завивкой. «Например, тётка у меня была, — придумывается. — Алевтиной звали. Красавица, умница, но замуж вышла, в Сибирь уехала, с тех пор ничего о ней не известно».

А потом жалеет о покупках, да так, что слёзы наворачиваются. Лежит новогодняя открытка с Кремлём и ёлочными шарами, яркая, как новенькая. А сзади написано: «Дорогая Инна! Желаю Вам в Новом году всего самого наилучшего! Надеюсь. Ваш Георгий К.» И стоит десять рублей, а в кармане ничего уже нет.

Георгий К. — сразу придумывается Инне Викторовне — не просто К., а Кононов. Физиком был. Жил в Москве в новом районе. Познакомились на даче в Кирилловском у общих друзей. Мне было сорок два, а ему сорок семь. Ничего не получилось. Но он любил меня. А потом умер от инфаркта. А я до сих пор люблю его… немножко.

— Да заберите, — говорит женщина за прилавком, закутанная в пуховый платок, укрытая прозрачным дождевиком, — заберите, только не плачьте.

— Как вас зовут? — спрашивает Инна Викторовна сквозь слёзы.

— Таня, — отвечает она. — Хотите, поглядите ещё, вдруг тут опять ваше?

Она дрожащими пальцами перебирает открытки и находит ещё две «Дорогих Инны» — восьмимартовские: первую с цыплячи-желтыми мимозами, вторую с нарциссами. Все три открытки когда-то были отправлены в конвертах или отданы из рук в руки — без марок, без фамилии, без адреса.

— Забирайте, — великодушно басит Таня из-под платка, — видите, как хорошо: не взяла бы я их — выкинули бы скоро, кому они нужны.

В подъезде не работает лифт. Инна Викторовна поднимается пешком на шестой этаж, обогнав девятиклассника Вову с восьмого — тоже ангела, кстати, — а он, переводя дыхание, удивлённо глядит ей вслед через тёмный лестничный пролет.

Она и сама удивляется. Всю жизнь боялась, всю жизнь береглась, всегда колотилось о рёбра испуганное сердечко: то бабушка была у Инны самая любимая на свете — а навсегда уехала в маленьком белом автобусе с еловыми венками, то был щетинистый серый Лорд с обрубленным хвостом, человечьей ухмылкой и карими глазами — а остался в болотистом лесу под длинной сосной, теперь и не вспомнить, где, — и сердце не разорвалось. Но сердцу, поняла тогда Инна, оставалось всего ничего, в другой раз уже точно разорвалось бы, и потому она, маленькая и слабая, навсегда передумала жить своей человечьей жизнью. Только тянулась полюбить кого-то взаправду — со всей силы грохотало в ребра: страшно. Не смей.

Отчитавшись про ангела Татьяну на рынке, Инна Викторовна идёт с кухни в комнату, снимает халат, усердно взбивает подушки и ложится спать. Под одеялом у неё торчат острые, как в детстве, коленки. Дышится легко. Ангелы под потолком шуршат крыльями, от них веет прохладой и долгим, крепким сном.

Инне Викторовне снова грустно и страшно.

Никогда не жила, — думает она, всхлипывая и жалея себя, — дура такая, — совсем никогда не жила…

Теперь Инна Викторовна боится, что никогда не умрёт.

Янка

Янка как привидение. Весёлое привидение, доброе, дневное. Кончики пальцев просвечивают, просвечивают пушистые волосы, под кожей голубые венки, шея тоненькая, глаза прозрачные. Янке тридцать два, и она думает, что лет через пять придется уехать навсегда, чтобы не было лишних сплетен и пересудов. Ей не продают алкоголь и сигареты. Бабки самой злобной породы ругаются вслед, когда она ведет за руку четырёхлетнего Женю, а те, что не особо злобные, всё равно шепчутся — это во сколько ж она родила-то…

И не родила вовсе. Женя вообще чужой мальчик, но она его очень любит. У него мама с папой зарабатывают деньги. И бабушек нету, и дедушек. И в садике ему плохо. Поэтому его родители платят Янке, чтобы она была с ним рядом весь день, и от этого всем хорошо.

Женя совсем тихий, он много спит, много рисует и любит гулять в сквере, вымощенном разноцветной плиткой, под старыми липами и голубыми фонарями. Прямо как Янка. Они даже чуть-чуть похожи: оба курносые.

Женя играет долго и самозабвенно — катает по лавочкам игрушечные машинки, раскладывает камушки и спички: «Вот тут переход, а вот это пешеход будет, а вот это тоже, а тут у них остановка… Ян, можно я стекло возьму, я не порежусь! Остановка же стеклянная! — А вот тут каток едет большой и все разбегаются, а вот это будет скорая и милиция, а тут такой фольксваген — вж-ж-ж…»

Янка тоже играет. Сидит на краю лавочки, вытащила из сумки косметичку и раскладывает на коленях всякие мелочи. Нитка бисерная, голубая; засохший сморщенный каштан, календарь с голограммой, пакетик сахара из кафе, кольцо с зеленой стекляшкой, простой карандаш размером с мизинец, заточенный с обеих сторон. Женя просит у нее то кольцо — сделать светофор, то карандаш — «а дай я им переход нарисую!», и Янка даёт, но как будто через силу; сидит не дыша, пока всё не вернется на место.

У Янки есть старшая сестра. Где-то в Новгороде, или в Пскове, или вообще в Старой Руссе. Даже адреса не осталось, да и не надо — она Янку никогда не простит. Потому что когда позвонили из больницы

и сказали, что мама умерла, Янка пошла в коридор, взяла газовый серый шарфик в блёстках, который они с мамой купили осенью на рынке, повязала на шею и села на кухне спокойная. И сидела, пока сестра металась по дому, кричала нечеловеческим голосом и стучала кулаками в стенки и мебель так, что вся дверца гардероба потом была во вмятинах. И не было ни слёз, ни страха, ни внезапной онемелой пустоты внутри, и даже когда сестра влетела на кухню и со всей дури влепила ей пощёчину, ничего не случилось. Янка просто встала, усадила ее на своё место, налила воды в стакан и вышла.

Сестра высохла и почернела за три дня, постарела на десять лет, потом надела очки — все глаза проплакала. Янка так и осталась шестнадцатилетней, фарфоровой, бело-розовой. Наверное, это теперь навсегда. Тихая маленькая девочка. Воплощённый шёпот и цыпочки. Бесчувственная идиотка.

Шарфик она через два года потеряла в театре; вернулась с полдороги назад, вместе с гардеробщицей облазила весь пол, выпросила разрешения и в пустой зал сходить, и на балкон, где сидела; и в туалет заглянула. Не было. Тогда она вышла на улицу, закурила под неодобрительным взглядом какого-то солидного дядьки и поняла, что больше нет того дня, четырнадцатого сентября, когда было тепло и солнце, и ходили с мамой по рынку, и ели мороженое, и говорили, что надо купить новую занавеску на кухню, можно жёлтенькую, повеселее. И даже не заплакала — почувствовала внутри небьющееся сердце, зашлась сухим мучительным кашлем, села на ступеньки, ткнулась головой в колени и подумала: так же умереть можно. И с тех пор старается ничего нигде не терять.

Ещё у Янки есть Константин Сергеевич. Он всего на два года старше, но если их поставить рядом, сразу ясно: вот это серьёзный человек, с именем и отчеством, а вот это — Янка. Кажется, она его любит.

Ну, нельзя его не любить, никак нельзя, он умница, он уже докторскую почти написал, и две книжки напечатал, и лекции читает. Когда у человека есть дело, в которое можно нырнуть с головой, его очень просто любить. Он тогда весь насквозь светится. Янка даже ездила для него по всяким редким библиотекам, даже неплохо выучила английский, даже поступила на филфак — неожиданно и легко; но быстро заскучала, устала и бросила.

Ей с Константином Сергеевичем очень трудно, он совершенно деревянный, и кто про них знает — все говорят: да ты с ума сошла, брось, ты тут в лепёшку расшибаешься, а он на тебя и не поглядит лишний раз.

Ещё бы. У Янки тридцать восемь чувств, третий глаз во лбу, пара лишних ушей на затылке и азбука Брайля в кончиках пальцев. Что-то из всего этого ей подсказывает: и не надо, чтобы глядел. Привычки нет. Глаза неправильные. А если разрешить себе почувствовать что-нибудь совсем непривычное, можно вообще сломаться, это она по себе знает. Так что пусть лучше не глядит. Дарит иногда всякие красивые пустяковины и хорошие книжки, по совсем большим праздникам — цветы, а когда Янка болеет, приезжает с лекарствами и гранатовым соком, а когда она вечером сидит одна и начинает грустить — угадывает и звонит.

И каждый раз, слыша его голос в трубке, Янка едва не умирает. Щёки горят, горло перехватывает и по всему телу мурашки. Она этими мурашками уже десять лет жива. И даже сказала однажды вслух тяжёлое, злое — «нет», — когда Константин Сергеевич как умел выговорил, что им нужно подумать о будущем. Потому что они бы поженились, и через пару лет всё стало бы совсем по-другому, притёрлись бы, привыкли, и по телефону говорили бы только «скоро буду» или «купи хлеба». Очень было жалко мурашек. И разных чужих людей ей потом тоже было жалко. Им ведь неприятно знать, что Янка любит Константина Сергеевича, а живёт с кем-то другим. Неприятно с ней здороваться и думать при этом всякое нехорошее.

Ещё у неё есть психотерапевт Александра Евгеньевна. Она видит Янку насквозь, очень сочувствует, по-своему даже любит её, но помочь ничем не может.

На самом деле Янке не нужен психотерапевт, но она добрая девочка и не любит расстраивать друзей. Надо — так надо. Она честно рассказывает Александре Евгеньевне сны и фантазии, пишет коротенькие зарисовки из собственной жизни и рисует цветными карандашами. Признаёт, что живёт невзаправду, вполсилы, что сердце у неё хрустальное и губы холодные. Если как следует прижать, то опускает глаза, но тоже признаёт — все это ей совершенно не мешает и даже нравится. Она понятия не имеет, зачем выходить замуж и рожать ребенка. Зачем нужна постоянная работа и пенсия. Тем более, у

Александры Евгеньевны за пять лет оплыл подбородок и стала почти седая чёлка, а у Янки ничего не случилось.

Александра Евгеньевна думает, что Янка боится жизни, чувствует всё вокруг непрочным, хрупким и временным, вот и боится пошевелиться, чтобы не сломать ненароком.

Но всё наоборот. Нет ничего постоянней и надёжнее, нет ничего более вечного, чем она сама. Ничто не вместит прожитый день лучше, чем случайно подхваченная мелочь, ненужная безделушка, а в сумке много места, да и карманы бездонные. Янка плывёт через свою жизнь прозрачной спокойной рыбкой и ничего особенного не делает, потому что никуда не торопится.

Иногда она замечает, как меняются лица вокруг, как на пустырях растут новые дома, как лавочки перекрашивают из голубого в зелёный цвет, и вспоминает, что смерти нет; и плывёт себе дальше, весёлое дневное привидение, самая счастливая девочка на Земле.

Игорь Петрович

Игорь Петрович — ремесленник. Мазила. Скучный старик (ему сорок девять лет, чёрт подери!). Бессмысленный бытописец. Для него весь мир состоит из чёрного марса, цинковых белил и окиси хрома. В выходные можно добавить краплака и сиены, но осторожно — хорошенького понемножку.

Игорь Петрович ещё раз пробегает глазами страницу и переводит дух.

Ремесленник. Пожалуй.

Старик. Пускай. Для Тани все, кому больше тридцати, глубокие старики.

Она не написала «бездарность». Обвинения, которым бросается направо и налево. Своего любимого приговора, после которого не видит в упор и не подаёт руки, не написала.

Пожалела, стало быть.

Теперь Игорь Петрович очень хорошо понимает другого скучного старика — отца Петра из первого подъезда, у которого седая бородища и фактурнейшая мохнатая голова, а в голове сплошное мракобесие и гносеомахия. Козни бесовские эти ваши интернеты. Соблазн, искушение и сплошной грех.

Не удержался, полюбопытствовал. Приревновал законную жену к серой гудящей коробке. Мало ему было, что Тане двадцать лет и она проводит вечера дома, разгуливая от компьютера к мольберту. Мало ему было, что полы помыты, белье постирано, ужин на плите, а в мобильном у Тани (тоже грешен, тоже полюбопытствовал) сплошь телефоны однокурсников и кураторов выставок. Захотелось узнать, о чём — да нет же, не о чём — кому — можно барабанить по клавиатуре с таким вдохновенным лицом.

Ну что ж, узнал. Под большим секретом и в отчаянном смущении потребовал у секретарши Катеньки подружить его с компьютером. Показал себя неплохим учеником. Отправился в разведку не из дома, а с кафедры, побоявшись оставить следы.

Таня оказалась очень хорошей девочкой. Нет и не могло у неё быть тайного романа, не до того, когда вся жизнь — живопись. Когда вслух

называют гением, пророчат большое будущее и зовут выставляться. Стало быть, и пишет она про живопись. И про художников. То, что думает. Романа нет, а сетевой дневник есть. Игорю Петровичу когда-то казалось, что Танина резкая и злая прямота — это очень мило.

Утолил, так сказать, любопытство. Так утолил, что чуть не захлебнулся.

Игорь Петрович запирает дверь на ключ, идёт к выходу, чувствуя себя каменным с головы до пят и удивляясь, отчего не трещит, не ломается под ногами облезлый паркет. Шея и плечи — хрупкий известняк. Голова — гранитный шар. Ноги — мраморные колонны. Сердце — бросовая уральская шпинель. Горло — трубка гигантского белемнита, забитая колючим песком. Слюдяные глаза выблёскивают направо и налево, ищут — кто тут глядит на него с презрением, а кто с жалостью. Кто тут читал, что написала его гениальная благоверная. Все пойдут на пересдачу по три раза. Но никто, вроде бы, особенно не глядит.

Он спускается по лестнице к раздевалке, слабо радуясь, что умеет держать себя в руках. Каменная грудная клетка не выпускает обиженное сердце, лицо неподвижный акротерий. Игорь Петрович думает так ровно до тех пор, пока не подходит к зеркалу завязать шарф и не видит себя с бледными щеками в красных пятнах и трясущимися губами. И только тогда, не застегнув пальто и не надев перчаток, спасается бегством.

Поехать к Аркаше, — думает он, — взять коньяка и ещё всякого, поехать к Аркаше в Крылатское. Одарить детей апельсинами, говорить комплименты Фирочке, вкушать божественный пятничный ужин из трёх блюд, потом запереться с Аркашей в кабинете, разлить коньяк по рюмкам, порезать лимон, посыпать кофе. Вытолкнуть из себя наконец, выговорить то, что стоит в горле комом — маленькая тварь, неблагодарная дрянь, да я её… да я для неё… да я… а она… И когда Аркаша смущённо скажет: да брось, старик, — ахнуть кулаком по столу и хрипло выкрикнуть: я не старик! понял?

Прийти домой рано утром, отмокнуть в ванной и приготовить Тане завтрак.

Или поехать в Текстильщики к маме. Выдуть два литра слабенького сладкого чаю, закусывая пресными сушками, починить розетку,

выслушать про камни в почках и желчный пузырь, соврать, что дома все чудесно, за полтора часа устать так, что все вокруг поблёкнет, выцветет и потеряет значение, поехать домой и завалиться спать.

Или нет, поехать домой прямо сейчас, сесть там на кухне, включить телевизор без звука, глядеть в него и молчать. Чтобы она юлила, ластилась, ходила на цыпочках и крутила хвостом, пытаясь вызнать, в чем дело. Чтобы почти уже догадалась; он по лицу увидит, когда это случится, рассмеётся, встанет и сгребёт её в охапку. Она чуть не умрёт от облегчения, но будет плохо спать.

Но пока Игорь Петрович мёрзнет у метро и решает, Таня звонит и говорит, что будет поздно. Так и говорит — зашла к родителям, буду поздно, приготовила курицу, целую, пока. И коротенькие гудки. И тогда он просто едет домой.

Дома Игорь Петрович ставит на мольберт очередной Танин портрет, начатый две недели назад. С мстительным удовольствием выписывает преждевременную складку в уголке рта, чуть заметную желтизну под глазами и торчащие худые ключицы. Ты, Танечка, ни в чём не виновата, — думает он. Ты говоришь правду какой ее видишь, я тоже говорю правду. Я ремесленник. Мазила. Бытописец. Окись хрома, говоришь? Вот тебе окись хрома, пусть потом спрашивают, почему у Игоря Петровича жена такая зеленоватая. А всё потому, что ночами спать надо, а не за компьютером сидеть. И курить надо меньше.

— Я… правду… я тебе… правду… — бормочет Игорь Петрович, раскачиваясь на табуретке и яростно скребя по холсту мастихином. — Я тебе…

Часы в большой комнате бьют девять вечера, и с последним ударом в голове Игоря Петровича взрывается сияющий светлый шар. Он становится лёгким, пустым и как будто пьяным, медный свет уличных фонарей проникает внутрь через кожу, доходит до сердца, вскипает в нем белейшим серебром — и горячим золотом обжигает корни волос.

Правый глаз Тани, которым она глядит в свои разноцветные гениальные холсты, Игорь Петрович пишет пронзительно бирюзовым, с узким вертикальным зрачком. А левый глаз, которым Таня смотрит на него, выводит обыкновенным, карим, смурным, с красными

бессонными прожилками на белке. В обесцвеченных тонких волосах прорастают сухие ковыли. Шею и ключицы покрывает медная чешуя, а сердце, маленькое Танино злое сердце висит посередине груди на голубых трубочках вен, чёрное, как антрациь. За сердцем, глубже, переплетаются тёмные деревья, сплошною стеной поперёк ребер; вот тебе правда, — шепчет Игорь Петрович, — запертый сад — сестра моя, невеста, заключённый колодец, запечатанный источник.

Он засыпает не раздеваясь, не убрав красок, не вымыв кистей, падает горячей головой в холодные подушки, опустошённый и едва живой.

Таня возвращается в начале первого, разбирает сумки на кухне, проходит на цыпочках в комнату, долго стоит перед холстом, закрывает свой обыкновенный карий глаз и целует спящего Игоря Петровича в седой висок.

II ВСЁ, ЧТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ

Облака

— Самое обыкновенное кафе, — рассказывает Нина, — светленькое, чистое. Готовят быстро. Люди незнакомые кругом. А мне, значит, несут омлет с грибами. И я, значит, жду его — и уже прямо слышу, как им с кухни пахнет, а потом думаю: во дура-то! Во сне-то люди запахов не чувствуют!

— Правда, что ли? — удивляется Вадик.

— Откуда я знаю. Просто сказал кто-то однажды, запомнилось. Это всё потому, что я с вечера не поела. Лежу — то есть, в кровати лежу, а в кафе сижу — и думаю: в холодильнике котлеты, молоко, яблоки, надо проснуться и пойти поесть. А чтоб проснуться, надо руки до лица дотянуть и глаза потереть. А руки как не мои, неповоротливые такие.

— У меня тоже так было, — кивает Вадик. — И что, проснулась?

— Подожди, это не всё ещё! Я, значит, сижу, расстраиваюсь, что омлет не несут и что сплю голодная. И тут из-за спины такой запах. Несъедобный, но всамделишный. Сильный такой. Пластиком пахнет, резиной, чем-то ещё, озоном, что ли. Оборачиваюсь, вижу, за спиной дверь стеклянная, а за ней сияние. Это из неё так пахнет. И люди туда входят и пропадают с концами. Мне, конечно, страшно, я сразу к мечу тянусь...

— К чему тянешься?

— К мечу, — смеётся Нина, — у меня там, во сне, есть меч-кладенец. Лежит рядышком поперёк стула. С ним я ничего не боюсь. Он, во-первых, опасное оружие, а во-вторых, немножко живой, но ручной и слушается только меня.

— Обалдеть, — вежливо говорит Вадик.

— Я тебя от дороги не отвлекаю?

— Не-а, я привык давно. Что дальше с мечом-то?

— А меч лежит не совсем рядом, а поближе к парню такому, иностранцу. Я его хочу попросить — и думаю: надо сказать по-английски. Рот открываю, а из него вылетает по-русски: «Передай, пожалуйста, мою ручную кладь». Тут я испугалась и проснулась.

Вадик смеётся. Хитро, говорит, устроена твоя башка. Мне бы так.

— Тебе бы так бояться, — сердится Нина, — в штаны бы давно наложил. Я тебе ещё свободного ускорения не простила!

—Ускорения свободного падения. До сих пор помнишь?

— Это моя любимая задача теперь. Как там было? Можно ли, произнося два с половиной слога в секунду, целиком сказать фразу: «Уважаемые пассажиры! Напоминаем, что ускорение свободного падения составляет девять целых и восемь десятых метра в секунду. Экипаж прощается с вами», падая с высоты десять тысяч сто метров?

— И как, можно?

— Я не посчитала, — хмурится Нина, — хотела, но не посчитала. Потому что всю физику забыла. И математику тоже. От страха. Пришлось просто книжку читать.

— Вот, — говорит Вадик, — приехали. Сейчас пять минуточек в пробочке постоим — и всё.

Нина глядит перед собой, печальная, смущённая и бледная.

— Смотри, — Вадик пихает её в бок, — что у меня на заставке, — и передаёт ей телефон, — твоё море.

— Ага. Нравится?

— Конечно. Круто же! Я же ни одного моря никогда не видел.

Фотография и правда хорошая. Море лежит под крылом, как голубое, светящееся изнутри зеркало, а над ним плывут облака, похожие на хлопья мыльной пены, и от каждого облака по зеркальной глади тянется маленькая тёмная тень.

— У тебя место возле окна? — спрашивает Вадик.

— Возле.

— Балтийское мне сфотографируешь?

— Если не упадём, то да.

— Замётано. Ну всё, приехали.

— Полторы? — спрашивает Нина, копаясь в сумке.

— Полторы. Тарифы растут, но мы пока держимся. До нового года точно не подорожает.

— До встречи, — твёрдо говорит Нина. — Обратно в пятницу в семь вечера. Позвоню, как только сядем.

— Нормально. Если я не смогу, то из ребят кого подгоню. До встречи.

Вадика ужасно хочется поцеловать в гладко выбритую, совсем мальчишескую щёку, но это будет что-то вроде прощального жеста, а не надо дразнить судьбу.

— И вообще беда с этими жестами, — думает Нина, пройдя регистрацию. — Вот если я сейчас сяду в кафе и закажу омлет с грибами,

это будет хорошо или плохо? С одной стороны, сон был страшный. С другой — он был страшный только потому, что у меня аэрофобия. И омлета мне там не принесли.

В итоге Нина не идёт ни в какое кафе. Она направляется в туалет, запирается в кабинке, достаёт из сумки шкалик коньяка и выпивает большими противными глотками, в носу сразу щиплет и в груди горит, но становится намного легче. То есть, проще. То есть, Нина приходит в такое состояние, в котором маловероятно потерять голову.

Рвануться из кресла в самолёте, медленно катящемся к взлётной полосе, с криком: «Выпустите меня отсюда!» Нина боится едва ли не больше, чем летать вообще.

Она входит в гейт на удивительно твёрдых для трусихи ногах. Внутри пахнет небом. Пахнет пластиком и озоном, прямо как во сне.

— Прощай, земля, — думает Нина, пристегнув ремни. — Прощайте, люди. Прощайте, мама и папа. И бабушка. И… — думается ей не в полную силу, не всерьёз, даже с небольшой смешинкой. Всё-таки хорошая была идея насчёт коньяка. И когда шасси отрываются от взлётной полосы, когда пассажиров несильно вдавливает в запрокинувшиеся кресла, изнутри Нину заполняет щекотный детский восторг.

И плывут внизу, уменьшаясь, дома и деревья, и муравьиные человечки, и разноцветные автомобили, а потом человечки становятся даже меньше муравьёв, и земля превращается в зелёную микросхему, в материнскую плату, затянутую полупрозрачными неровными облаками.

Нина до сих пор не решила, как вести себя, если место у окна. Можно опустить шторку и думать изо всех сил: «я в автобусе!». С другой стороны, если не смотреть в окно, вдруг что-то случится? Мало ли, что там. Нет уж, лучше смотреть.

Сосед, аккуратный старичок в очках и при галстуке, глядит на Нину с доброжелательным любопытством. Я такую суету развела, — стыдится Нина, — и растрепалась, наверное, и щёки у меня красные после коньяка. Вот чего он смотрит? Неприлично так смотреть. Что бы такое ему сказать?

— Под нами много озёр, — наконец сообщает Нина таким тоном,

будто они со старичком знакомы тысячу лет. — И в основном они круглые! Представляете, это сколько же метеоритов упало!

— Надо же! — восхищается старичок. — Ведь действительно!

— Я весной летала в Италию, — говорит Нина, — а месяц назад в Сочи. Так вот, там, когда летишь, круглых озёр намного меньше. Наверное, есть какой-то закон физики… ну, или астрономии, по которому метеориты падают больше на северо-западе. Наверное, это зависит от наклона земной оси…

— От наклона земной оси они падают в Антарктиде, а здесь какое-то другое дело.

— Например, огромный магнит под землёй,— говорит Нина. — Сердце Севера притягивает космическое железо.

— Или на юге сухая земля, и кратеры не заполняются водой, — предполагает старичок. — Кажется, мы с вами нашли друг друга. Я, знаете, не страдаю болтливостью в обычной жизни, но здесь, признаться… Мне не очень комфортно летать.

— Понимаю, — вздыхает Нина, оглянувшись в окно, за которым уже нет никакой микросхемы в озёрных пробоинах, а есть сплошное голубое и белое сияние. — Мне тоже.

— Как красиво, — говорит старичок.

— Хотите к окну?

— Нет-нет, спасибо. У меня, знаете, такое глупое свойство… Я всегда стараюсь взять билет не у окна. Иначе мне начинает казаться, что если отвести взгляд… хоть на секунду… случится что-то ужасное. Слаб и самонадеян человек…

— Мне тоже так кажется, — соглашается Нина. — Но я не всё время смотрю. Глаза устают.

— Если бы показать это… вот всё это, — старичок указывает в окно, — какому-нибудь сомневающемуся средневековому мистику…

— Он бы, — подхватывает Нина, — уверился в существовании рая.

— И жестоко обманулся бы. Вам тоже становится легче, когда самолёт поднимается совсем высоко? Когда под нами облака?

— Тоже. В такую вату и падать не страшно.

— Значит, и мы с вами жестоко обманываемся. А ещё, знаете, когда я первый раз летел на самолёте — с мамой в Ленинград — мне было восемь лет. И я очень хотел посмотреть из окна, какая земля

круглая. Но были такие облака, что так и не посмотрел. И потом тоже всегда были облака. А вы случайно не видели?

— Чего не видела?

— Какая земля круглая? Вы же много летаете?

— Не видела, — вздыхает Нина. — Потому что всё время облака. Может, она и не круглая вообще.

Разносят обед, и Нина со старичком — его зовут Марк Григорьевич, он из-под Смоленска, но уже пятнадцать лет живёт с женой в Москве — занимаются восхитительно глупым делом: с помощью пластиковых ножей, салатных листьев, ветчины и плавленых сырков сочиняют гамбургеры из круглых аэрофлотовских булочек.

— Теперь это съедобно выглядит, — торжествует Марк Григорьевич, — но как же мы с вами, Нина, насвинячили тут! А давайте попросим ещё кофе?

— А дава… — и тут насвиняченное мгновенно увеличивается в объёмах, на колени сыплются крошки и кусочки салата, и по громкой связи объявляют, что кофе не будет. И вообще пока не кончится турбулентность — никаких горячих напитков.

— А я что-то не боюсь, — удивляется Нина, чувствуя, как самолёт проваливается вниз, а сердце в пятки. Но это всего лишь сердце и всего лишь пятки, сама-то Нина действительно не боится ни капельки.

— А я, знаете, тоже. Турбулентность-турбулентность, а я маленький такой, — напевает Марк Григорьевич.

— Марк Григорьевич, как вы думаете, что они добавили в кофе? — смеётся Нина.

В иллюминаторе между тем творятся чудные чудеса: айсберги плывут, и хлопья мыльной пены, и поля серебряной травы, и ветер — нет, разные ветра — разносят и перемешивают их, будто в бескрайнем калейдоскопе, полном сияния и свечения. И Нина прилипает к стеклу носом, а Марк Григорьевич приникает трогательно к её плечу и глядит тоже.

— Нина, — очень серьёзно говорит вдруг Марк Григорьевич. — Знаете, чего я боюсь? Я боюсь, что гляжу сейчас на то, чего вообще не позволено видеть человеку. Турбулентность, воздушные потоки, упасть, разбиться, это всё такая ерунда…

— Вы думаете, за это могут наказать? — так же серьёзно спрашивает Нина.

— Боюсь, что могут.

— Наверное, я тоже боюсь…

А потом облака истончаются, разрываются, прозрачнеют — и распахивается внизу, под крылом, зелёный провал Балтийского моря, золотящийся по краям и опасно темнеющий на глубинах.

— Ах ты! — вырывается у Нины, до сих пор видевшей с высоты только Чёрное и Средиземное. Она вытаскивает фотоаппарат из сумки и щёлкает для Вадика — но получается плохо; щёлкает ещё раз — и опять не так.

Вадик всё же умница, — приходит ей в голову, — ему ведь эти фотографии не нужны. Он меня так занимает, добрый человек. Чтобы я, пока лечу над морем, думала, как бы изловчиться щёлкнуть, и не помнила бы, что лечу между двумя безднами — водяной и воздушной…

Облака вытягиваются в тонкие полосы, пересекающие друг друга: сразу видно, где какой ветер. И как они переплетаются, и растягиваются, и рвутся, и как становятся у них неровные истрёпанные края.

И тогда Нина видит их.

Высотные ветра их не трогают: они висят поперёк ветров отдельными и оформленными облачными глыбами, тяжёлыми и неподвижными. Огромные, забравшиеся выше всех прочих кучевых и дождевых, эти облака просто висят и смотрят, очень внимательно смотрят и очень недобро, не образуя собой ничего подобного человеку или иному живому существу, но их давящий взгляд проходит сквозь толстые стёкла. Они разумные и размышляющие создания, и они у себя дома, а человеку — как и говорили только что Нина с Марком Григорьевичем — здесь не место.

Один облак проплывает совсем рядом, и столько в нём угрозы, столько нехорошего обещания, что Нина хватается за фотоаппарат, как за последнюю соломинку, — и жмёт на кнопку, и ещё раз, и ещё десять раз, с лихорадочным злорадством твердя: «Ну всё, Вадичек, ты у меня теперь в штаны-то наложишь!»

Облак плывёт дальше, а она следит за ним в окно, испытывая странное облегчение.

Вот в чём дело, — думает Нина, поражаясь собственной уверенности, — он меня не запомнил. Смотрел на меня, но не запомнил. Может быть, они вообще не различают и не запоминают людей.

Она оборачивается и видит Марка Григорьевича, точнее, то, что осталось от Марка Григорьевича — старую человеческую оболочку с открытыми глазами и открытым ртом — и хочет крикнуть: «Помогите!», но из горла вырывается слабый невразумительный писк.

У Вадика сегодня вышел хороший день: не пришлось ехать пустым назад, позвонил ещё один постоянный клиент, и ждать его понадобилось всего полчаса. Пробка при выезде на бетонку, как обычно, но когда едешь не один — можно и постоять, всё не скучно.

— Дочка-то в первый класс пошла? — спрашивает клиент. То есть, не просто клиент, а Стас, редактор местной газеты, большой и невероятно любопытный мужик.

— Да год ещё, — говорит Вадик, — ей только в августе шесть было. Надо её до школы на мамкину родину свозить, в Белоруссию. И на мою родину, на Алтай.

— На Алтае-то красоты какие! — вспоминает Стас. — Я там сколько раз в юности был…

— Да, у нас там места…

— И что, поездом повезёшь? До Бийска четверо суток. Она ж у тебя измучается.

— Потерпит, — сурово говорит Вадик.

— Нет, ну ты чудной человек! Ты сколько лет в такси работаешь?

— Три года.

— В аэропорт часто возишь?

— Раза два-три в неделю. Иногда чаще.

— Хоть кто разбился? Ты вспомни, вспомни. У нас город маленький. Если бы разбился — я бы некролог давал, а я его не давал.

— Да не в этом дело…

— А в чём? Если сам летать боишься — так сам и потерпи, а жену с дочкой пожалей!

— Ты обидишься, — говорит Вадик, — я тебе сейчас скажу, но ты обидишься. Дело в том, что я вас чувствую… Не знаю, по запаху, что ли.

— Кого? — обалдевает Стас.

— Людей, которые летают. Или по голосу, не знаю. Вон, я до тебя девку вёз. Второй год её вожу в аэропорт, ей по работе часто надо. Когда она мне позвонила первый раз — я заранее знал, что ей в аэропорт.

— Ничего себе…

— Вы отличаетесь. Я не знаю, чем, но отличаетесь от всех остальных. От нас, которые не летают. Запахом. Голосом. Может, у тебя вообще кровь зелёная, откуда мне знать? Может, когда будет конец света, вы попадёте прямо в рай, а мы в ад. Хотя мне чаще кажется, что наоборот.

— Ничего себе, — повторяет Стас.

— Я не знаю, почему так. И что там в небе. Что там с вами происходит. Что вы там видите. Вот ты сейчас откуда летел?

— Из Нью-Йорка.

— И что видел?

Стас задумывается, мрачнеет, чешет бороду — и наконец говорит: да ничего особенного.

Штрафные

— Стрекозки, — радовалась Лерка, — стрекозки синие, маленькие, две штуки! Даже крылья синие. Я бы не заметила, так они трещат! Вот прямо летят и трещат!

Олег поморщился.

— Они откуда угодно могли прилететь.

— Они маленькие, — упрямилась Лерка, — сла-абенькие. Местные. И потом, им вода нужна.

— А Воробьёвские пруды чем тебе не вода? Тут по прямой километров двенадцать. Оттуда и прилетели.

— Не-а. Местные. Я чувствую. Говорю же, маленькие, слабенькие, ветром сносит, и не совсем синие, а знаешь, серенькие такие, как будто цвета не набрали ещё. Надо воды, пусть Дашка под микроскопом посмотрит, вдруг они…

— …отложили икру, — усмехнулся Олег.

— Да иди ты! — Лерка вскочила, отряхнулась и обиженным шагом направилась к бывшему медпункту.

— Лер, я одуванчик видел, — сказал Олег ей вслед.

— Где?

— За библиотекой. Сходи глянь. Он там пока один.

Одуванчик и впрямь был один-одинёшенек: жалкий, почти бесцветный, выпроставший нерешительные листья из-под бревенчатой стены, набравший слабый бутон на длинном хлипком стебельке. Лерка поделилась с ним питьевой водой. Под стеной библиотеки было достаточно сыро, но от человеческой бутылочной воды одуванчик мог ещё немного окрепнуть и набраться сил.

Она вернулась к Олегу и сказала: поехали!

— Куда?

— Стираться и за питьевой. Сил моих больше нет! — Лерка дёрнула себя за полу великоватой рубашки, от неё отделилось облачко чёрной пыли, помедлило в воздухе и прилипло обратно.

— Так ты недавно стирала, Дашкина очередь. Руки-то пожалей.

— Опять хочу! — Лерка нетерпеливо притопнула, обернулась к дальним домам и во всю певческую мощь проголосила: — А вот кому стира-а-аться, подходи-и-и!

Пока Олег выводил мотоцикл, заливал солярку и собирал пустые канистры, из дальних домов пришли деловые Кельчин и Соболевский с грязной одеждой в пакетах.

— Я стрекозок видела, — сообщила довольная Лерка.

— А на слободке пастушья сумка, — поделился Кельчин, — вроде как. Листья треугольные. Но она пока совсем мелкая.

Соседнее Трёхсвятское ещё стояло серое, и круглое озерцо за ним лежало неподвижное, но в лесу за озерцом уже зазеленело. Первой всегда оживала верба, за ней молодой ивняк и осины, потом кустарники; хвойные деревья держались дольше всех: иголки на них отрастали поначалу рыжие и мягкие, осыпались от малейшего ветерка, и только через пару лет превращались в привычную колючую зелень.

— Смотри! — торжествующе сказала Лерка, усевшаяся в коляске мотоцикла поверх мешков и канистр.

— Я уже в прошлый раз заметил. Зеленеет. Да.

Через полчаса остановились на болотце, уведя железного коня в живые кусты, чтобы никто не видел с дороги. Лерка деловито разложила одежду по кучкам, нашла подходящую ямку, завозилась по локоть в мыльной пене, прополоскала в другой яме, проточной, Олег помог выжать штаны и рубашки, запихать отстиранное в пакеты. Поблизости кто-то стал подавать звуки, и они шуганулись было — местные, завидев стирающих штрафных, могли неплохо навалять, — но это оказалась ничейная белая коза, пришедшая на болото обгладывать ветлу.

Войны Лерка не помнила; всю войну — ровно три часа — она провела на скамье подсудимых. Кто-то кому-то позвонил, все засуетились, приговор вынесли спешно и на шесть месяцев меньше, чем распространялись самые смелые надежды адвоката, погрузили в машину, отвезли обратно, потом погрузили в поезд, отвезли к месту отбывания — и забыли. Лерка ни в чём особенном не была виновата, работала бухгалтером в плохом месте в плохое время, и все дела. Новости доходили медленно, про войну уже знали, но что именно случилось и почему всё прекратилось так стремительно — никто не понимал. Потом дошли слухи: новое оружие. Такое страшное, что одним своим существованием настаивало на абсолютном мире. «Что может быть страшнее атомной бомбы», — подумала тогда Лерка, — а

через полтора года её вызвали и пообещали амнистию за участие в штрафной экспедиции. Болеть, сказали, не будешь. Урода, сказали, не родишь. Там больше не опасно. Страшно. Неприятно. Не более того.

В мелкую чёрную пыль превращалось всё: трава, птицы, садовые кусты, иногда люди. Дома оставались целы. Крупные кустарники, деревья и домашний скот тоже выживали, хотя растения впадали в бессрочное забытье. На вторую весну после войны аэрофотосъёмка зафиксировала зелёное пятно в одной из брошенных деревень. Оказалось — вернулась непуганая семья, наладила дом, вскопала огород, на котором не взошло ничего — ну и пусть; ездили за продуктами в соседнее село, возили воду из лесного родника — и дождались: зазеленело. Оживали только те места, в которые приходили люди. Казалось, дело за малым: набрать достаточно добровольцев, воодушевить как следует, высадить малый десант в каждую чёрную плешь на зелёной земле — и ждать пока оживёт; но не тут-то было. Воодушевлённые добровольцы добирались до места, оглядывались вокруг — и рвались назад. Рассказывали потом: страшно не было. Было не по себе. Было чувство нечеловеческого места — такое острое и сильное, что хотелось только уйти. Не бежать сломя голову, не спасаться, не скрываться, просто уйти и забыть.

Тогда вспомнили о тех, кто не мог отказаться. Заключённых отбирали правильно: всё больше молодых и случайных, каждые сутки срока ощущавших страшной утратой; но и это не помогло. До места ехали, радуясь грядущей свободе. И просились обратно в тот же день.

Лерка думала, что тоже попросится.

Она сделала несколько шагов по непривычно мягкой земле, подошла к чёрному скелету смородинового куста, удивляясь тончайшим ювелирным прожилкам мёртвых листьев, и малейшего движения оказалось достаточно, чтобы куст обратился пылью и осыпался вниз, как будто рванулся к неживой земле, и в эту секунду изнутри Лерки что-то рванулось тоже, и она уверенно сказала: я остаюсь здесь.

Городок назвался какими-то почтовыми цифрами, не городок — одно название: десяток панельных трёхэтажек, два десятка почерневших бараков, вышка мобильной связи, теплоцентраль. Лерка запомнила его до последнего камешка: он был первый. Потом были Малое

Строкино, Вязёмы, Заречное, Полундино, Марьино, и там Лерка числилась уже добровольцем.

Штрафными называли всех — что заключённых, что добровольцев, что случайных и одноразовых людей. Штрафных не любили: они жили в плохих местах и носили на себе чёрную пыль. Штрафных уважали: они делали хорошее и правильное дело. Поэтому полчаса назад, на болотце, местные могли навалять штрафным за стирку пыльной одежды в чистой воде. Поэтому теперь, в посёлке Воробьёво, их встречали хлебом-солью, точнее молодым редисом, солёными грибами и копчёной свининой, и воды из колодца местные загорелые пацаны принялись набирать сразу, только завидев вдалеке грохочущий Олегов мотоцикл.

Поэтому Лерку — вздумай она снять юбку и рубашку и войти в нежаркую голубую воду Воробьёвских прудов, просто искупаться, просто смыть пыль — убили бы на месте. Без шуток.

Воду перелили в канистры, заставили всю коляску; воробьёвских поблагодарили за продукты, уложились как следует и поехали обратно; дорога оказалась скучная. На месте Лерка развешала выстиранное с наветренной стороны, переоделась и ушла. Олег искал её за библиотекой и на слободке, где пастушья сумка, но везде было пусто, и тогда он пошёл на бывший прудик у окраины, Лерка любила там сидеть.

Прежде заросший ряской, служивший приютом плавунцам и ручейникам, нынешний прудик был страшен и неподвижен: он лежал под сумеречным небом неровным серым зеркалом, ртутью, выглаженной фольгой, мёртвой незыблемой гладью. Лерка сидела на мостках в купальнике. Комаров всё равно не было.

— Ты чего одна сидишь? — спросил Олег.

Лерка обернулась и молча соскользнула в мёртвую воду. И сказала: иди сюда. Ну, иди же, не бойся. Почему, думаешь, тут ничего не живёт? Всё стерильное.

— Ты чудная, Лер, — сказал Олег. — Вот ты чего тут делаешь? Мне полтора года скостили. А ты доброволец. Ты молодая, красивая, не болеешь ничем, вполне годишься…

— Гожусь? — истерически весело вдруг перебила Лерка. — Гожусь,

да! В экспедицию на Марс. Ты не в курсе, когда они там собираются? Я серьёзно.

…и сама вдруг поняла, что это она совершенно серьёзно. На Марс. На Луну. В необитаемое. В стерильное. Огромное. Пугающее. Неживое. Поняла, что рванувшееся из неё некогда к останкам смородинового куста — рвалось не к земле: не оживить собой, не воскресить, не отогреть присутствием. Тянулось оно — к нечеловеческому: смутно и необъяснимо тянулось, как к родному, как к свету, как к теплу. Вот к этим серым, неподвижным, пугающим кубометрам воды. К этому чёрному, неживому, пыльному берегу.

— Я попробую, — сказал с берега Олег, и разделся, и вошёл в воду, опасливо дёргая плечами, будто мёрз, хотя вода была тёплая.

— Иди сюда, — сказала Лерка с глубины.

И тогда издалека — со слободки, от библиотеки, от развешенного белья — раздался невыносимый, вкручивающийся в барабанные перепонки Дашкин визг.

И тогда Олег побежал из воды на этот визг, подхватив с мостков футболку и забыв штаны.

А Лерка легла на серую воду и посмотрела в серое небо. Ничего особенного не случилось, так всегда и бывало, это Дашка увидела мышь и теперь боязливо приплясывает на каком-нибудь брёвнышке или крылечке под хохот и торжествующие вопли. Когда приходят мыши, штрафные могут уходить: жизнь в такие места возвращается дальше сама.

Лерке стало неспокойно, и она вдруг вспомнила почему: больше нельзя было лежать на воде и смотреть в небо, полностью забывая про себя и про всё на свете. Что-нибудь живое теперь могло протянуться под беззащитной спиной или коснуться ноги, а когда-то в прошлой жизни Лерка больше всего на свете боялась водяных змей. Что там говорить, она до сих пор боится — и пиявок, и плавунцов, и даже водомерок.

Большая жизнь Дугласа Фогерти

Все вокруг были безумцы, художники и поэты, а Дуг оказался фантастически (в нашем-то доме) нормален.

Взять хотя бы его утренние пробежки.

Приглядеться хотя бы к его вычищенным тупоносым ботинкам.

И как он ходил и разговаривал, как размахивал загорелыми руками: у меня есть фотография, где Дуг спорит с кем-то возле лодочной станции, одетый в светло-серую футболку и белые брюки, а вокруг небо и пляжный песок. Я кое-что подправил, задрал контраст — и получился ангелический, страшный, сияющий Дуглас, состоящий из головы с ореолом выгоревших волос, длинной шеи и парящих в воздухе отдельных рук. Потом я врал, что снимок был на плёнке, что единственный отпечаток Дуг забрал и подарил кому-то, а плёнка потом потерялась, и что я ничего не делал, просто увидел и сфотографировал; в общем, что Дуглас был именно такой.

Он был тощий, сутулый и совершенно обыкновенный. И ещё у него была астма. Мы выкинули ковры и покрывала, а Лиза купила циновки и бамбуковые жалюзи, но он часто возвращался с улицы потрёпанный и поблекший, как будто его изнутри немного подъела моль.

Дуглас Фогерти был абсолютный, эталонный идиот. В том смысле, что совершенно нормальный человек. Обыватель. Пацан. Он хотел красную машину, потому что это круто, хотел здоровый бицепс, внушительный трицепс, кубики на прессе и фактурную голень. Бегал по утрам, потому что тягать железо не позволяла дыхалка, но Дуг надеялся, что на побережье всё пройдёт — и вот тогда он всем покажет. Хотел Мэгги Райс, потому что у неё были сиськи четвёртого размера и соответствующего объёма задница (я был женат пятнадцать лет, но так и не понял, что там с размерами задницы, какими буквами и цифрами его обозначают в магазинах нижнего белья).

Дуглас Фогерти вёл дневник, писал стихи и рисовал картинки шариковой ручкой на офисной бумаге.

Я смеялся, Дуг, я ржал как лошадь, когда в последний раз пересматривал твоих шариковых баб с несимметричными буферами и ногами разной длины, когда перечитывал стихи, которыми ты надеялся

растопить ледяное сердце Мэгги Райс, надёжно укрытое силиконовой бронёй; я плакал, Дуг, когда сжёг всю эту дрянь в песчаной яме за причалом, когда вспоминал, какой ты перекошенный и неуклюжий, и что руки у тебя как у девчонки, и что ты дурак, и как ты сидел у меня в комнате на полу и делал вид, что всё понимаешь.

Я был худшим отцом на свете.

Марк пошёл со мной в поход и принёс домой полный нос соплей, его лихорадило и болела голова, и Грейс тут же решила, что это менингит. Или полиомиелит. Или ещё какой-то смертельный -ит, который целиком и полностью моя вина. Она жаловалась на меня соседям, подругам и таким же чокнутым мамашам на форуме, в котором залипала каждый вечер. Через два дня Марк хотел курицу, маринованную кукурузу и в школу, и Грейс всякому встречному преподносила его выздоровление как чудо и промысел Божий.

Он упал с велосипеда и ободрал локоть. Потому что он был последний в школе, кто ещё не научился кататься на велосипеде, а будь воля матери — она усадила бы его в инвалидную коляску и пристегнула ремнём — так ведь безопасно. «Он мог погибнуть! — кричала Грейс, когда я привёл его домой с прилепленной к локтю бумажной салфеткой. — А если бы он ударился головой?»

Мы прожили по отдельности (я сам по себе, а Марк с матерью) ровно тридцать семь дней, когда его сбила машина. На нём были шлем и наколенники, скейт он нёс под мышкой (она разрешила ему скейт, потому что мы развелись и он расстроился), а Грейс крепко держала его за руку, но вот эта машина — и Марка нет, а у Грейс только разбиты колени и подбородок. Некоторое время потом не помню. Я пил; по собственным меркам немного, но каждый день.

И после этого вдруг начал проявляться наш дом. Я сдал нашу бывшую спальню Лизе и Дереку, хорошим ребятам, от них пахло индийскими благовониями, и оба они были худые и коричневые, как будто вырезанные из сандалового дерева. Комнату Марка сдал Трише, тоже хорошей девушке: она никому не мешала и всё время сидела в интернете. А Дуглас Фогерти появился потом. Он был, кажется, младшим братом школьного товарища Дерека, попал в какую-то мутную историю, в общем, ему негде было жить. И тогда мы с Дереком вынесли из гардеробной тумбочку и сняли вешалки, а взамен

притащили тахту и журнальный стол. В конце концов там было окно, так что гардеробная вполне могла считаться за отдельную комнату.

Я любил их. Они меня не трогали почём зря и не мешались. Дерек возился то в гараже, то в душе, усовершенствовал то краны, то сливы, то антенну на крыше. Лиза приносила целые сантаклаусовские мешки мелочей: какие-то свои чашки, какие-то квадратные японские блюдца, подсвечники, циновки, и так радовалась всей этой ерунде, что я тоже радовался за компанию. Триша неистово хотела замуж за француза, поэтому проверяла на мне свои кулинарные способности и даже ходила со мной по магазинам: французы ведь очень экономные люди, так что и ей надо было научиться. Два француза были уже отбракованы, и оба раза мы с Тришей неплохо посидели до утра на импровизированных поминках по её личной жизни.

Дуглас был другой, он мешался.

Ему было тесно и неуютно в бывшей гардеробной.

Ему было не по себе при Дереке, Лизе и Трише. Это получалось само собой. Я знал, что Дерек занимается йогой, Лиза фермерская дочка, а Триша наследная владелица автозаправки в бегах. Но когда появлялся Дуглас Фогерти с растрёпанными волосами, облупленным от непривычного солнца носом и своей щенячьей ухмылкой, все сразу вспоминали, что Дерек дизайнер, что Лиза ведёт колонку в журнале, что о рассказах Триши хорошо отзывалась то ли Санди, то ли Мэнди, чёрт её знает, короче эта, которую сейчас повсюду продают в голубых обложках; а вот Дуглас — никто. Такой улыбчивый простачок, скорее симпатичный, но всё равно дурак, которому сначала не хватило ума окончить колледж, а потом не хватило сноровки хоть как-нибудь устроиться.

Дуг был не только глуповат и неудачлив. Если бы мне надо было охарактеризовать его в пару слов — я сказал бы «феноменальная бездарность».

Восемь лет из моих детства и юности сожрала художественная школа мисс Плятцидевски, выжившей из ума полячки, бравшей за занятия такие гроши, что мать моя не утерпела: одержимая игрой под названием «урвать подешевле», она запихнула меня в эту чёртову школу — и я все эти чёртовы восемь лет размазывал по бумаге акварель и темперу, подыхая от скуки. Я до сих пор иногда рисую:

потому же, почему другие люди грызут ногти или ковыряются в ушах. И вот Дуглас появился на пороге моей комнаты с бумажным ворохом в руках, сообщил, что ему скучно и что он хочет показать мне свои рисунки.

В мечтах Дуг видел себя по меньшей мере Борисом Вальехо. Он старательно выводил на тонкой бумаге мускулистых девиц в доспехах — доспехи прикрывали только стратегически неприличные места, а мускулы были нарисованы там, где по его представлению они должны находиться. Он рисовал лошадей, драконов, спортивные автомобили и детей. Дуглас Фогерти бросил колледж ради художественной школы и проучился два с половиной года. Серьёзно. Нет, конечно, из колледжа его скорее всего выгнали за непроходимую тупость, но рисовать он действительно учился — упорно и старательно, изводя всю бумагу, карандаши и шариковые ручки, которые находил вокруг; и действительно ходил в эту свою школу два с половиной года, не пропустив ни занятия. Глядя на даты (всякий его рисунок был украшен старательно выведенной датой и замысловато соединёнными буквами DF), я обнаружил, что сегодняшние и двухлетней давности рисунки не отличаются ничем. Те же беспомощные грудастые тётки с вывихнутыми локтями и подобием варежек вместо кистей рук — Дуг не умел рисовать пальцы. Те же кривоногие лошади, плоские машины и перекособоченные чашки в натюрмортах. Он, видимо, понимал, что ничего не получается, но из последних сил надеялся, что я обнаружу в его мазне что-нибудь интересное.

И я обнаружил, конечно. Точнее, сделал вид. Этим я купил Дугласа с потрохами.

Я хотел завести собаку — наверное, лабрадора, чтобы сидел у меня в комнате на полу, тыкался носом в колени, таскал в зубах палки и приносил на лапах пляжный песок, недолго хотел, ровно тридцать семь дней после развода. А теперь у меня каждый вечер сидел Дуглас Фогерти и нёс потрясающую околесицу. Дуг был чем-то средним между дыркой в зубе и колыбельной, он раздражал и успокаивал одновременно, и думать о нём как о настоящем человеке было сложно. Всех людей, похожих на Дугласа, я выкинул из своей жизни ко всем чертям. Уже лет двадцать как. Потому что бестолковые существа. И то, что с одними мы вместе ходили в школу, а с другими жили по соседству, их не оправдывает.

Однажды я подумал, что он — симпатичная обезьяна. Стало неприятно. Пускай уж лучше лабрадор.

Дуг писал стихи. Для своей силиконовой Мэгги. Он читал их мне, а я делал вид, что слушал, а иногда даже слушал всерьёз: это было смешно. Стыдно, но всё равно смешно. Как-то раз, ухохотавшись про себя вдоволь над очередными «фиалковыми глазами», я прочёл ему сто тридцатый сонет Шекспира, и Дуг спросил… Серьёзно, он спросил: «А чем у меня хуже?»

Однажды я сидел у себя за письменным столом, выпив лишнего и решая, стоит ли в таком виде показываться в гостиной, взял карандаш, ручку, ластик и стал рисовать, стыдно признаться, голую девицу верхом на драконе. Это Дуг меня попутал. Девица вышла обычная, как будто скопированная из анатомической хрестоматии, а на драконе я оторвался, как не отрывался давно (подцепил когда-то это словечко у сына, точней ведь не скажешь), вымучивая и блики на чешуе, и глаза, и когти, но стараясь, чтобы дракон казался нарисованным небрежно и быстро. К вечеру я был трезв, опустошён, испачкан потёкшим стержнем и доволен жизнью. К вечеру я уже точно знал, что и как буду делать дальше.

Всё свободное время я стану жить так, как если бы я был Дугласом Фогерти — двадцатидвухлетним беззаботным балбесом. Точнее — так, как если бы Дуг был мной, если бы в его тощую, лохматую и безмозглую оболочку запихнуть всё, чему меня научили университет, ранняя женитьба, здоровенная библиотека, скучный камень на могиле Марка, гипертония и психоаналитик.

Я завёл дневник: файл, который назвал буквами DF, и писал туда всё, что написал бы Дуг, если б был мной. Я рисовал всё, что он нарисовал бы, если бы на самом деле умел (У Дугласа был бумажный дневник, я нашёл его, открыл посередине и прочитал, как он дрочил в гараже, представляя какую-то Пэм; на два предложения было пятнадцать ошибок. Я должен был сжечь дневник, но вместо этого пошёл и выкинул его в мусорный бак на соседней улице. Сейчас говорю — и на Страшном суде скажу: эта позорная тетрадка бесповоротно избавила меня от чувства вины).

Через несколько месяцев в моём дневнике было триста с лишним страниц, а рисунки не помещались под кроватью.

Голых баб и драконов я не рисовал уже давно. Если бы Дуглас Фогерти был мной, то он не появлялся бы дома, проводя всё время на побережье. Он раньше не видел океана. Если бы Дуг был мной, он любил бы Рокуэлла Кента: горизонтальную воду и вертикальные небеса. Наверное, купил бы цветную тушь. Я рисовал тушью, по крайней мере: на мокрой бумаге, на крафте и на картонных обрезках, остававшихся после дизайнерских экспериментов Дерека.

Я открыл дневник и прочитал с первой до последней страницы.

Там был настоящий Дуглас Фогерти, а не то ходячее недоразумение, которое я видел каждый день. Не знаю, как этого парня создавал Господь, но у меня получилось лучше.

Это была книга — и хорошая, кажется, книга. И я никому, ни-ко-му не мог это показать.

Даже Дугласу.

А хотелось нестерпимо.

Весь неприкосновенный запас, четыре упаковки ксанакса, в бутылку виски. Я взял эту несчастную бутылку и пошёл к Дугласу, пнул дверь и позвал его пошляться по берегу. Он послушно подскочил и сорвался за мной, правда что ли — как собака. И я вспомнил, как давным-давно прочитал в газете, что ветеринары усыпляют собак отвратительным препаратом: они мучительно задыхаются и не могут пошевелиться, а хозяину кажется, что собака заснула. И сказал Дугласу, что у меня весь день болит сердце, поэтому я сегодня не пью. Он хлопнул меня по плечу, пробормотал что-то вроде «не вешай нос» и присосался к бутылке. На виски у него никогда не хватало денег, Дуг покупал только дешёвое пиво, зато целыми упаковками, которые занимали половину холодильника.

Мы ходили полчаса, не больше, и Дуг нёс что-то про мотоцикл, который купил бы, если бы нормально зарабатывал, потом начал напевать дрянную песенку, его уже хорошо развезло, потом задумался и спросил: тебе никогда не хотелось уснуть в лодке?

Он впервые сказал то, что мог бы сказать Дерек. Или Триша. Или я.

Это смерть в нём сказала.

Я повёл его на лодочную станцию, уже закрытую к ночи. Дуг не помещался в лодке лёжа, но я снял фанерную банку, и места стало больше.

— Я нажрался, — печально констатировал Дуг и закрыл глаза.

И ничего больше не говорил.

Вернувшись домой, я вошёл в его комнату и по-настоящему убил ненастоящего Дугласа Фогерти. До утра в моём распоряжении были его ноутбук, рисунки, пара блокнотов, пароли от почтового ящика и блога, содержимое карманов курток и джинсов. На рассвете я растолкал Дерека и сказал, что у меня пропали лекарства и что Дуг не ночевал дома. К тому времени, когда на лодочную станцию приехала полиция, он остался только в двух ипостасях: остывающее тело в белой рубашке и парусиновых штанах (не хочу знать, уснул он ангельским сном или захлебнулся собственной рвотой, настоящий Дуг, спящий в деревянной колыбели, в океанской летучей гробнице) — и трёхсотстраничный файл в моём компьютере. И ещё рисунки, но они, конечно, не главное: разве что для полноты картины.

Следующие два месяца я вытаскивал из небытия настоящего Дугласа Фогерти.

Ненастоящий помогал мне. Он, несмотря на туповатость и постоянную ухмылку, оказался парнем необщительным: с кем-то тусовался на пирсе и выпивал, клеил каких-то девиц, но никто ничего о нём толком не знал. У него хватило ума (а точнее инстинкта человека, над которым часто смеются) не показывать этим девицам свои стихи и рисунки и не писать им писем, в которых была бы очевидна его убийственная безграмотность. У него не хватило ума — и это был поистине подарок от мёртвого Дуга — вести блог в публичном доступе. Не догадался снять галочку в установках — и никто не видит вот этого: «У Джонса пиво неочинь». «Хотел бы я занятся дайвенгом», «Почему меня никто не коментит?»

Я всё это дерьмо отредактировал: заменил на свой дневник, то есть на дневник настоящего Дугласа, оставив от прежнего хозяина только несколько фотографий. И снял галочку, разрешая всем желающим смотреть на Дугласа Фогерти. Желающих должно было найтись много.

Я не заходил на эту страницу долго, очень долго, пока однажды посреди ночи ко мне не вломилась пьяная, рыдающая взахлёб Триша, и не призналась, что полюбила Дугласа с первого взгляда, но он был такой странный человек, совсем не от мира сего, что не получилось

даже нормально поговорить, а теперь его нет, и жизнь кончена. Ей, стало быть, попался в сети блог Дугласа, а Триша у нас очень умная истеричка. Через пару недель она дала интервью какому-то сетевому журналу, а Лиза подсуетилась и опубликовала свои воспоминания о Дугласе в журнале бумажном, уважаемом и очень андерграундном.

Книга — двести двадцать записей блога уместились в триста семьдесят страниц — вышла скоро, и Дуглас на обложке был неожиданно впечатляющий, с той самой моей фотографии. Написанные моей рукой даты и буквы DF в углу нескольких попавших в книгу рисунков были неотличимы от оригинала. Какие-то дуры затеяли носить на лодочную станцию и к нам под ворота гаража свечи в стеклянных банках, цветы и бумажные кораблики. Тришу узнавали на улицах. Я отказывался говорить про Дугласа, и все воображали, что понимают меня.

А знаешь, Дуг, я бы дал интервью.

Я бы рассказал всё, о чём мы с тобой болтали.

Я не очень хорошо понимаю, что имею в виду, говоря «ты».

Сейчас ноябрь, Дуг. Позавчера был твой день рождения. К Трише опять приезжали спрашивать о тебе. Позавчера одна женщина поставила свечку слишком близко к забору — и весь виноград сгорел. Он был уже без листьев и с высохшими ягодами, собирался зимовать. Вспыхнул, как солома. Как бумага. Как волосы. Эти, приехавшие к Трише, поймали меня на улице и спросили, что бы ты сказал, если бы видел. Я ответил, что тебе понравилось бы, как горел виноград. Потому что мне понравилось. Это было красиво. И очень жалко.

А ты, наверное, был бы страшно расстроен, требовал бы найти ту женщину и оштрафовать.

Все эти падальщики, знаешь, ушлые ребята: они очень скоро раскопают, в чём дело. Может быть, даже завтра.

С некоторых пор я не думаю, что будет завтра. Я думаю — зачем.

Видишь ли, Дуг это бес сочинительства меня попутал. Я мог бы выдумать тебя. Мог бы выдумать другого человека вместо тебя. Я из тех уродов, кому мало собственной жизни, кто обязательно выдумает что-нибудь ещё, или кого-нибудь, чтобы пожить и за него тоже. Нет, враньё. Я сочиняю даже сейчас, говоря с человеком отсутствующим,

несуществующим, но способным поймать меня на лжи — и я всё равно ему лгу.

Видишь ли, Дуг, я затеял всё это не ради трёхсот страниц, пропади они пропадом. Не ради рисунков, это и вовсе смешно. Я должен был однажды увидеть что-то большое. Огромное. То, что сожмёт мне сердце и переломает кости. Я должен был столкнуться с ним лицом к лицу, потому что иначе и бес — мелочь, и сочинительство — туфта. А ты был обыкновенным, простым, прозрачным, я тебя, дурака, видел насквозь, и всё время ждал, что кто-то сейчас подойдёт и посмотрит сквозь тебя с той стороны. И когда мы шли на лодочную станцию, я точно знал — зачем. Я хотел, чтобы смерть поглядела на меня твоими глазами, Дуг, бестолковое ты существо, простейшее позвоночное, лишённое всяческих перьев. Моё нечестное зеркало. Мой сияющий лабрадор.

Сутра экскаватора

Come on down to South Park town
and meet some friends of mine.

На прежнем месте жил только Лео, остальные разъехались.

В школе у него было прозвище, но я забыл.

Он почти не изменился, это большое искусство — прожить на свете больше тридцати лет, сохраняя прозрачный мальчишеский облик. Слово «невинность» огненными буквами горело на его чистом лбу. Именно: невинность во всём — в выражении лица, смущённом развороте некрепких плеч, робком ангельском взгляде сквозь стёкла очков с нулевыми диоптриями. На свете нет ни одного человека, в отношении которого это слово было бы большей неправдой.

— Хорошо, что зашёл, — сказал он, шмыгая носом и дёргая себя за рукава. — Я тебя тысячу лет не видел. Хочешь заглянуть к маме?

Я заглянул. Линда сидела в своём кресле у окна. Она давно не красила волосы, и сверху они были седые и гладкие, а снизу, на затылке и у шеи, похожие на жёлтую свалявшуюся паклю.

— Здравствуйте, — сказала она, увидев моё отражение в стекле. — Как дела?

— Неплохо, — ответил я. — А у вас?

— Неплохо, — отозвалась Линда эхом и наконец обернулась. — Я вас не помню, да? Но вы друг Лео? Всё хорошо?

— Да, всё хорошо, — сказал я и аккуратно прикрыл за собой дверь.

— Ей вроде получше, — сказал Лео. — Вообще-то она запросто протянет ещё лет тридцать. Получается, я здесь навсегда.

— Мне жаль.

— Мне тоже. Хотя, знаешь, во всём есть свои преимущества. Каждый день ровно в четыре часа она выходит на кухню и готовит обед. А потом идёт и запускает стиральную машину. И будет делать это даже когда забудет собственное имя. Ладно. Как дела вообще? Братец твой, кстати, как? Я его что-то потерял.

— Я тоже.

— В смысле, он опять свалил куда-то?

— В смысле — он умер. Об этом я и хотел поговорить.

Вот тут-то Лео и сел где стоял.

— Ты чего? — сказал он. — Как?
— А вот так.
— И что, мы тоже можем?
— Не знаю, — сказал я.
— Так что, этот старый хрен нам наврал?
И мы пошли к этому старому хрену.

Кроме бессмертия, мы ещё много чем были ему обязаны. Если бы наши предки знали, чем именно, они бы линчевали Герберта Гаррисона.

Не исключено, что это был бы лучший выход тогда.

— Привет, мальчики, — сказал он как ни в чём не бывало, сияя лысиной над своими клумбами и альпийскими горками. — Решили навестить старика?

И тут Лео в два счёта оказался возле него, сгрёб за лямки комбинезона и хорошенько потряс над душистым горошком.

— Решил обмануть нас, сукин ты сын? — прорычал он жутко и убедительно, словно в его тщедушном теле скрывалась как минимум дюжина пьяных лесорубов.

— Что, опять? — раздражённо пробурчал Герберт, совершенно не впечатлённый, хотя ноги его всё ещё не касались земли. — Мальчики снова куда-то влипли и не могут разобраться сами, но прилично вести себя так и не научились?

— Кевин, давай прикончим его, а? — нормальным человеческим голосом сказал Лео. — Он меня раздражает.

— Чёрт, — сказал Герберт, — так ты Кевин? Хорошо выглядишь. А твой брат…

— А вот он, — сказал я, — выглядит плохо. Очень плохо. Ты, ублюдок старый, представляешь, как выглядит человеческое тело через три недели после похорон?

— О господи, — сказал Герберт и сел на грядку. Он был классический истерик и даже истеричка, и это движение, выражающее крайнюю степень душевного смятения, совершил продуманно, плюхнувшись не в горошек и не на мальвы, а на пустой ещё участок земли, примостив там свою задницу практически ювелирно.

— Рассказывай, — потребовал Лео.

— Да нечего мне рассказывать.

— То есть ты нас всё-таки обманул.

— Да нет же! Я не знаю, почему не сработало! Хотя…

— Ну?

— Мальчики, я не хотел бы подозревать вас, но…

— Говори уже.

— Помните, что мы должны были положить в ковш?

— Коллекцию значков Кайла. Куклу из кукурузного початка. Красного Мегамэна. Филадельфийский серебряный доллар. И ещё…

— Вот! — торжествующе сказал Герберт. — Я, честно говоря, практически уверен, что кто-то из вас украл серебряный доллар. Я, честно говоря, практически уверен, что это не ты. И не Лео. И не Кайл. И не Стен.

— Картман! — хором сказали мы с Лео.

Жиртрест переехал в Индианаполис и учился на медицинского психолога. Впрочем, жиртрестом он давно не был: к четырнадати годам у него начались проблемы с коленями, и мать запихала его в клинику, откуда Картман вышел очень даже похожим на человека. Хотя бы снаружи. Он до сих пор хромал на правую ногу, обзавёлся тростью с серебряным набалдашником, отпустил бакенбарды и считался республиканцем.

— Да ладно, — первым делом возмутился он, явившись перед нами на экране, — этот старый хрен вам наврал!

Но сопротивлялся недолго — и наконец признал свой детский проступок.

— Я не так уж виноват, — тараторил он, — это всё равно вина мистера Гаррисона, это он рассказывал нам про серебряные доллары, которые отчеканили в восемьсот четвёртом году, а год поставили восемьсот третий, или наоборот, не помню, короче, они стоили целое состояние, прикиньте. Мы же были такие придурки. Я почему-то решил, что это как раз такой доллар.

Мы его ещё немного поуламывали, и Картман наконец раскололся. Доллар был прилеплен на жевательную резинку под решётку ливневой канализации неподалёку от его бывшего дома. То есть найти его представлялось маловероятным — но решётка оказалась прежней, и я сломал перочинный нож, отковыривая этот чёртов доллар. Как раз когда монета оказалась у меня в руке, неузнаваемо чёрная, в грязи и остатках жвачки, Картман позвонил и сказал: я только что

понял, что Кенни действительно умер. И заплакал. И ещё сказал: я прилечу утром, кто-нибудь уже звонил Кайлу и Стену?

На следующий день мы сели и поехали.

Почти двадцать лет назад мистеру Гаррисону пришло в голову, что мы можем достичь бессмертия. Ему всё время приходила в голову какая-то фантастическая ерунда. Мы по очереди окунулись тогда в дождевую воду, скопившуюся за лето в ковше экскаватора на окраине Денвера. Было тепло и пасмурно, вода противно пахла. Я никогда с тех пор не болел, однажды переспал с девушкой, у которой был ВИЧ, и не заразился, и однажды на спор прыгнул с четвёртого этажа. Я очень зря это сделал тогда. Это видел Кенни — и уверовал в силу нашего дебильного ритуала, и пошёл в каскадёры.

И мы все почему-то поверили. Особенно сам мистер Гаррисон. Теперь он сидел и пялился на родинку у себя на левом запястье, которую собирался показать врачу ещё двадцать лет назад, а потом передумал, а теперь, наверное, поздно, а он похудел на двенадцать фунтов и кашляет по утрам.

И мы все почему-то были уверены, что это сработает, если всё сделать по правилам.

Кайл половину дороги вырезал куклу из кукурузного початка. Он сделал ей глаза из патронов от мелкашки, проковырял раззявленный рот и приделал член из зубочистки.

— Примерно такую, — сказал он, — я сделал бы тогда. Годится?

Мы одобрили.

Кстати, — печально заметил мистер Гаррисон с заднего сиденья, — экскаватора там может и не быть. Двадцать лет прошло.

Но он там и стоял.

Утративший следы былого величия, с выбитыми стёклами кабины, лишившийся внутренностей и части зубов по краям ковша, разрисованный краской из баллончиков, загаженный изнутри и снаружи, мёртвый — да, может быть даже мёртвый — он встал перед нами прежним железным монстром, таинственным и опасным, — старый экскаватор на окраине Денвера. Зелёная плесень вьюнков взбиралась по его иссохшим гусеницам, к нему со всех сторон подбирались обманчивые в своей безобидности ромашки, а на верхней точке стрелы свил гнездо дрозд. Но всё равно это был он, блистательный и

безмерный ужас нашего детства — и он воскрешал в нас детство, и мы подошли к нему слабыми и беззащитными, с разбитыми коленками и веснушками, с проволочными браслетами на загорелых руках, с ореховыми копьями и рябиновыми палками, и ковш его, как и прежде, был полон зелёной бродячей воды, в которой плавали бледные артемии, размокшие окурки и смятые сигаретные пачки.

Подтянуться к краю ковша — то, что в детстве было нелёгкой задачей — у меня заняло одно движение сейчас.

— Я готов, — сказал Кайл и бросил куклу в воду.

— Я готов, — сказал Лео и бросил серебряный доллар.

Я нырнул.

Сегодня на закате, когда глаза заполнила зелёная водяная мгла, я многое понял, мой старый железный друг. Я понял, что мистер Гаррисон обманул нас, потому что обманывать — это свойство взрослых: они обещают и не выполняют, они возвышаются над нами и постыдно падают, они сажают нас под домашний арест, свидетелей их позора, они затаскивают нас в сияющие утробы мегамоллов, а потом снова сажают под домашний арест, когда мы хотим там слишком много игрушек, они говорят одно, а хотят другого, они надеются, что мы можем обо всём догадаться, хотя никогда не догадываются сами, они убили Кенни, сволочи.

Я понял, что мы и так под домашним арестом, потому что взрослым нужны экскаваторы и мегамоллы, но не нужны космические корабли, и Земля навеки останется одинокой точкой на фоне огромного Солнца.

Я понял, что нет никакой разницы, двоится ли сейчас у меня в глазах, вижу ли я действительно две серебряных монеты на илистом дне ковша, ведь если даже Картман украл какую-то другую монету, а наша была на месте и ритуал не работает — это больше не важно.

Я понял, что мы и были бессмертны, когда впервые пришли к тебе, но ржавчина этого мира не утратила над нами власти — и однажды проест нас насквозь, как проест и тебя, и твой волшебный ковш, и никому не будет дела до того, что когда-то он был нам чудесным котлом, завещанным старинными книгами, но я, Кевин МакКормик, и мой брат Кеннет МакКормик из могилы, до сих пор свидетельствуем о тебе.

Про море

Ничего не было за окном.

Совсем ничего.

Старый Петер, хозяин «Причала», никак не мог заставить себя выбраться из-под тяжёлого, отсыревшего за ночь одеяла; все лежал, вглядывался в заоконный туман и думал…

…что молочная белизна по утрам лежит на деревьях и крышах, как новый слой грунта на неудавшемся холсте;

…что к полудню всё будет нарисовано заново, и некоторые улицы окажутся не на своих местах, не говоря уже о колодцах;

…что туман звучит, и звук у него особенный — такой можно услышать, приложив к ушам две морских раковины одновременно;

…что шум в ушах — нехорошо, надо бы всё же встать и принять капли;

…что название гостиницы, от которой до моря трое суток пути, придумал неисправимый глупец;

…и что Моррис сумасшедший.

Сумасшедший как есть. Пускай других обманут раскрытые ладони и широкая улыбка. Других подцепят на крючок прямой взгляд и умение слушать не перебивая... А старый Петер на своём веку много таких повидал. Глядит в глаза — потому что не видит; не перебивает — потому что не слышит; всё себе на уме, всё у себя внутри, а как выплеснется наружу — разбегайся кто может.

Моррис явился в июне, не раньше. Точно, в июне: только-только припекло как следует. Солнце выпаривало из земли соль. Воздух был горячий и гулкий, как под нагретым колоколом. А Моррис пришел с двумя чемоданами, и на нем была соломенная шляпа. А еще остроносые ботинки, шейный платок и блёклый несуразный сюртук, тесный в плечах. Он заплатил за полгода вперёд и снял две комнаты в мансарде. Это все Эльма, упокой Господь ее душу, так чудно звала чердак. И даже в домовой книге записала — «комнаты в мансарде».

Домовая книга была заполнена на две трети и хранила почерк Эльмы — ровные круглые буковки, похожие на морскую гальку.

Фиолетовые чернила выцветали. Бумага желтела. Когда Петер думал, что скоро придется разлиновать новую тетрадь и писать в ней собственным птичьим почерком, ему хотелось плакать.

Моррис.

Сумасшедший.

Петер слышал его шаги издалека. Нормальные люди так не ходят. Нормальный человек если пошел куда-то, его и не слышно почти. То есть слышно, конечно, но все давно привыкли: идёт человек, и пускай себе идёт. Часы вон тоже идут, стрелка секундная щёлкает, а кто на нее внимание обращает?.. А Моррис может задуматься на ходу и забыть сделать следующий шаг. Может внезапно перейти на бег, а потом снова остановиться. И совсем уже худо, когда он подходит к двери «Причала» и задумывается прямо перед ней. А Петер всё ждёт, когда стукнет дверной молоток. Иногда он не выдерживает и идёт посмотреть, почему Моррис молчит.

Он стоит на самом крыльце и улыбается, глядя куда-то в сторону и вверх. При виде Петера его улыбка становится ещё шире.

Ну, хотя бы сюртук свой глупый и ботинки он оставляет в комнате. Ходит босой, голый по пояс, подвязав длинные волосы линялой тряпкой. Пропадает на пустырях за посёлком, возвращается с ног до головы в песке. Не иначе, ищет что-то. Учёный, наверное. А может быть, кладоискатель. Ничего особенного, Петер насмотрелся и на тех, и на других.

Как-то раз он оставил внизу мешок, с которым таскался на пустыри, и Петер в него заглянул. И вовсе он не собирался трогать чужие вещи, просто так получилось. В мешке были ржавые гвозди, компас с треснувшим стеклом и белые от времени обломки дерева. А ещё много раз сложенная тонкая бумага с непонятными чертежами. И больше ничего интересного.

Учёный, решил тогда Петер. Но всё равно сумасшедший. С учёными, говорят, бывает.

А еще была Лисса, дочь мельника, и она совсем не опасалась сумасшедшего. Даже наоборот. Только имя его услышит — сразу краской зальётся и глаза прячет.

Её, конечно, жалели. Некрасивая, неяркая, будто вся пропиталась тонкой отцовской мукой, медленная, как осенняя муха. Петер один

раз видел: шла с корзиной по рынку — и тут рядом прошелестело: «этот, как его, Моррис» — и встала как вкопанная в своем сером платьице, в тусклом фартучке, во всех этих бесцветных тряпках; стоит — костром полыхает, — глазам жарко.

А ещё как-то раз Петер увидел их вместе и неслышно подошел поближе. Просто так. Старому человеку любопытство простительно.

Ни о чем особенном они не говорили. И о встрече не условились.И не целовались даже.

Моррис свои чертежи развернул, тыкал пальцем в бумажки эти, рассказывал что-то, а Лисса кивала.

А потом она и вовсе дома заперлась, за ткацким станком. Выходит разве что к колодцу за водой. Ни с кем не разговаривает. Спокойная, как неживая. Тени у глаз залегли.

Поссорились, не иначе. Хотя кто их знает…

Время, думал Петер; это всё время. Был поселок каторжан, соляные рудники; век минул — стал курорт. Карьеры. Пески. Соль в земле и на земле, соль в воздухе, соль на губах и на коже. Земля, сохраняющая тела в могилах нетленными, берегущая кости древних зверей и старинные монеты. Туман по утрам. Низина. Дожди обходят стороной, в последний раз моросило сорок лет назад, а сады зеленеют, а сорняки в огородах буйствуют, и дикий виноград заплел изгороди.

Утром и вечером приходит поезд, дает длинный гудок и стучит колесами.

А потом тишина.

Такая тишина, что всякий прохожий на улице невольно ступает в такт собственному сердцу, потому что слышит его.

Такая тишина, что кажется — время остановилось.

Такая тишина, что уши приезжих не выдерживают её; в головах у них поселяется белый шум, ровный размеренный гул, будто самое настоящее море поёт за окраиной.

Затем и едут сюда все, у кого не хватает денег на дорогу к настоящему морю.

Обманывать себя.

Облизывать соль с обветренных губ,

вглядываться в туман по утрам,

слушать белый шум в голове.

Просыпаться к полудню и выходить под солнце.

Молчать. А если и говорить — так о несущественном. О погоде. О яблоках с рынка. Уходить гулять к холмам по узеньким белым тропкам, представляя себе, что сразу за холмами открывается слепящая водная гладь…

…вот только сегодня лень идти так далеко, но завтра непременно…

Потому и уехали отсюда, один за другим, потомки каторжан.

От ранней слепоты, от хруста в суставах и одышки, от вязкой, обволакивающей тишины, в которой слышится бог знает что, от горчащей солоноватой воды из колодцев.

Есть ещё те, кто не уезжает. Им уже много лет. Им всё равно. У них есть дети, где-то далеко, далеко; дети пишут письма и присылают на лето внуков. Это жить здесь плохо, а приезжать на лето — хорошо. Особенно тем, кто не может поехать к морю.

Есть еще старый Петер, у него больше нет Эльмы, но остался «Причал», поэтому он тоже никуда не уедет.

Он только понял, отчего проснулся таким растерянным, будто забыл хороший сон, будто упустил в темноте что-то и не может вспомнить.

Не пришёл утренний поезд.

На памяти Петера такого ни разу не случалось.

Там, в большом мире, что-то произошло.

А к вечеру, когда ближние холмы обвело золотым и красным, за окнами стало шумно: все дети, что оставались в посёлке, одновременно выбежали на улицу, и воздух взорвался хохотом, свистом и выкриками. Они бежали куда-то, они звали друг друга, и старики выходили за ними, встревоженно переговариваясь и разводя руками. И шли на окраину по следам босых ног в пыли: не могли же дети сорваться с места просто так.

Если бы поезд пришел, они бы вернулись к родителям.
Их отмыли бы горячей водой и едким мылом,
подровняли бы отросшие за лето вихры,
одели бы в одинаковые кургузые пиджачки,
собрали бы им сумки с книгами,

отправили бы пачкать пальцы чернилами и дышать мелом,
до следующего лета.

Когда ты маленький, «до следующего лета» — это почти навсегда.

Но поезд не пришел, и каникулы еще не кончились,

и босые ноги проносились по улице, поднимая солёную пыль, и звонкие голоса выкрикивали самую главную новость внезапно продлившегося лета:

Моррис раскопал в песках древнее чудовище.

Да какое чудовище! От начала до конца его остова, гладкого и блестящего, золотого на закате, уместилось бы три «Причала», если не больше. Рёбра, островерхие и изогнутые, были светлее и тоньше позвоночника и тянулись вверх, в самое небо…

Учёный, окончательно решил Петер. Все-таки учёный, а никакой не сумасшедший. Видно, знал где искать. И эти деревянные штуки, перевязанные верёвками и укреплённые камнями, похожие на исполинские корни, были нужны для того, чтобы поднять остов чудовища из оседающих песков — разом, не задев ни косточки. Если бы не утренний поезд… Если бы там, за холмами, в большом мире, все оставалось по-прежнему, то уже на этой неделе поселок наводнили бы газетчики, франтоватые мальчишки в котелках и клетчатых пиджаках. Они расспрашивали бы детей и взрослых, измеряли бы рулеткой обхват каждого ребра чудовища, ослепили бы Морриса магниевыми вспышками, писали бы остро отточенными карандашами в мятых блокнотах…

— А как же так? — удивился Петер, подходя ближе и щурясь изо всех сил, — позвоночник у него вон какой, а позвонков-то я не вижу, всё ровное…

— Это не позвоночник, — улыбнулся Моррис. — Это киль.

Петер сделал ещё шаг вперед и замер с открытым ртом.

Двадцати девяти лет от роду Петер узнал, что моря на самом деле не существует.

Пускай три океана одарили его несмываемым загаром, пускай в

кожу рук навечно въелась чёрная смола, пускай в волосах ранней сединой проступила соль;

пускай он выучил наизусть имена ветров
и положение звёзд на небе в любое время года,
пускай он мог проложить курс к любой суше с закрытыми глазами;
земля всегда была впереди,
а моря не было.
Настоящего моря не было,
того, что шумит в ушах, когда проваливаешься в сон,
того, что рокочет вдали за минуту до пробуждения;
всякое море, которое ему доводилось увидеть, было — другое.
Не то.
Петер давно уже забыл, как узнал об этом.

Он вернулся на берег, когда Эльма ещё не устала ждать его.

Он выбрал место, чтобы построить дом, в трёх днях пути от большой воды.

Он назвал свою гостиницу «Причал», сделал на первом этаже круглые окна и протянул канаты вместо перил на лестницах.

Потому что самый лучший способ узнать настоящее море — тосковать о нём,

думать о нем непрерывно,
слышать его неустанно,
чуять в любой соли — морскую,
в любом ветре — надвигающийся шторм,
просыпаться с утра и нащупывать мокрое пятно на подушке.
И понимать, что море приходило во сне.

И ещё целых два месяца все в поселке оставалось по-прежнему.
Осень гнала по небу рваные облака и обжигала ржавчиной травы.
По ночам небо над холмами загоралось тревожно и страшно,
по ночам издалека, из большого мира, доносился гул и грохот,
и когда ветер приходил с запада, пахло гарью.
А Моррис строил корабль.

Белый от времени, глянцевый от песка, остов обрастал плотью.
Дети стали помогать Моррису первыми.

Потом пришёл мельник, отец Лиссы, и сказал, что не станет строить новый дом, раз уж за холмами творится не разбери что. И что ему не нужны больше ни доски, ни инструменты, третий год лежащие в сарае.

Потом пришла сама Лисса.

Потом кто-то ещё.

Петер вскоре понял, что мир сошёл с ума вместе с Моррисом. Содержимое корабельных трюмов было извлечено из песка, но никого не заинтересовало. Чёрные старые сундуки дети жгли в кострах вместе с сухой полынью. Золотые монеты втаптывали в солёный песок, будто золото ничего не стоило больше. Моррис поставил мачту, и парус хлопал на ветру, как большое серое крыло, пока не был подвязан. Тогда Петер понял, отчего половину лета Лисса провела за ткацким станком.

Больше всего на свете Петер боялся теперь, что утренний поезд однажды снова придёт. Его мучила бессонница. Он ворочался полночи, проваливался в сон под утро и открывал глаза раньше, чем поднималось солнце. Лежал, затаив дыхание, ожидая, что вдалеке застучат колеса, и мир вернется на круги своя, и всё окажется зря… И только после того как стрелка часов на стене переваливала за цифру девять — время прихода поезда — позволял себе вдохнуть полной грудью.

Ожидание изводило его два осенних месяца.

Что-то должно было случиться.

Однажды ночью он скорее почуял, чем услышал слабый звук, смутно знакомый, почти родной. Шелест и лепет, шорох и тонкий звон пронизывали тёмное пространство за стенами, и Петер никак не мог понять, что же такое он слышит, и не решался выйти на улицу. Звук мешал сосредоточиться; монотонный и медленный, он успокаивал, убаюкивал.

— Идёт дождь, — подумал Петер, не в силах вынырнуть из тёплого, мягкого сна.

Капли барабанили по черепичной крыше, срывались и колотили в подоконник, шлёпали по листьям в саду, стучали в оконные стёкла. Первый дождь за сорок с лишним лет.

И когда утром он вышел на крыльцо,
посёлка не было.
Была туманная чаша, по стенам которой бежали мутные потоки воды
и сходились на дне, поднимая белёсую взвесь из песка и соли,
и было низкое, тёмное, сырое небо,
были враз почерневшие от влаги дома и деревья,
и был корабль Морриса, выступающий из тумана,
был парус его, обвисший и серый,
и свежего соснового тёса трап, по которому люди поднимались на палубу и не возвращались обратно.

Петер поднялся на борт в числе последних; он оглядывался через плечо на «Причал», на размытые дождём дорожки и скрипящую от ветра незакрытую дверь, изо всех сил прижимая к себе домовую книгу. Он взял её на память. И ещё — там, внутри, был почерк Эльмы. Всё, что осталось.

Лёгкие леса и натянутые Моррисом верёвки держали корабль прямо до самого конца.

Ночью палуба стала вдруг шаткой и зыбкой, дерево заскрипело, натянулись до предела толстые смолёные канаты.

Вода вытянула из песка соль и растворила без остатка; вода поднималась всю ночь, росла снизу непроглядной чернотой, пока не слилась с ночным небом, пока на границе неба и воды не остался только корабль Морриса.

В каюте горел огонь и гуляли сквозняки.

Петер глядел в лица, позолоченные тусклым светом двух масляных ламп, и не узнавал их. Он и себя самого не узнал бы сейчас.

Он сидел, закутавшись в старую потрёпанную куртку, обмотав шею растянутым шарфом, баюкая на коленях домовую книгу, память о последнем своем причале.

Моррис увидел книгу и улыбнулся.

— Перепиши нас, Петер, — сказал он.

Нашлись и чернильница, и отточенное перо, и лишняя свеча. Петер был уверен, что здесь можно найти всё, что только понадобится,

Моррис должен был позаботиться, сумасшедшие — они такие…

Сначала он открыл книгу вверх ногами и сразу заметил; но перевернул страницу, вдохнул сырой ночной воздух и забыл выдохнуть.

Бумага не была разлинована, но поперёк листа, спешно, наискосок, бежали круглые буквы Эльмы, короткая записка, оставленная неизвестно в каком году и по какому поводу.

Петер ещё успел подумать, что давным-давно, в ту пору, когда она ждала его на берегу, он не получил от неё ни одного письма.

Пока не было нас с тобой, море было везде,
а как появились на свете мы — исчезло море.
Каждая пядь земли вышла из солёной воды,
и каждая пядь земли уйдет в соленую воду.
И не о море тоскуем мы — о начале и о конце времён,
о времени и пространстве и о себе самих.
Море никогда не придёт туда, где будешь ты;
там, где есть ты — нет моря,
потому что держать море внутри может только тот,
кто бесконечно, безнадежно, недосягаемо далеко от него.

А любить несущего внутри море может кто угодно,
любой маленький человек, ходящий по суше, может любить его.
Так легко любить чужую тоску, Петер…

Когда он вышел на палубу, вытирая слезящиеся глаза и сморкаясь в огромный клетчатый платок, его не качало. Скользкие доски держали надёжнее, чем земля. За бортом клубилась дымная мокрая ночь. Море было снаружи, и ничего снаружи не было, кроме моря. Море было внутри, бежало по венам, стучалось в виски и жаркой солью обжигало глаза. И ничего не было внутри, кроме.

Море, подумал Петер.

Море, которое не нужно больше держать внутри.

Тридцать девять дней оставалось идти дождю.

Мишель

Веселясь и задыхаясь, едва отрывая от земли мокрые ноги в тяжёлых ботинках, вытирая нос краем колючего шарфа, Варя бежит на вечерний сеанс. Она не помнит, что будут давать сегодня, но совершенно точно покажут Мишель, покажут целых два ролика — Варя с Мусей заплатили за это.

В зале промозгло и пустовато, редкие тёмные головы торчат поверх кресел, Муся машет рукой со второго ряда. Мишель уже здесь, она глядит с экрана. На ней тельняшка с оторванными рукавами и длинные красные бусы. Руки у неё маленькие и загорелые. Мишель только проснулась, она трёт глаза, улыбается припухшими губами и долго подбирает слова, у неё разлохмаченные кудри и смешной детский нос, она великолепна.

— Когда я была маленькой, ужасно хотелось, чтобы меня звали Сьюзен, — говорит она, — в этом имени слышен звук индийского дождевого маракаса, как будто внутри у него пересыпаются рисовые зёрна. А Мишель — это издевательство какое-то. Вы бы выжили, если бы одноклассники десять лет подряд звали вас Мишей? Я, кажется, утратила гендерную идентичность за эти десять лет. И всякую другую идентичность тоже. Погодите, у меня сейчас убежит кофе. Ну вот, убежал.

Мишель говорит: и тогда я похоронила её под кустом бузины в Коломенском. Она кричала. Пока он был рядом, сидел за столом напротив, рукой дотянуться можно — она кричала. «Это я, ты что — не видишь? Это же я! Посмотри на меня немедленно! Обними меня!» Я откусила чизекйк и подавилась. И тогда он всё-таки прикоснулся ко мне. Постучал по спине. Я отдышалась, а она задохнулась и умерла. Я похоронила её под кустом бузины возле тропинки, по которой он ходит на работу, и она до сих пор вопит из-под корней — «Это я!». Быстрее бы её уже съели червяки.

— Что такое чизкейк? — недоумевает Муся, и Варя шикает на неё, пряча в темноте мокрые глаза. Начинается другой ролик, незнакомый, а ведь Варя думала, что видела всё. Мишель глядит в камеру,

склонив голову набок, у неё шевелятся только губы и волосы от сквозняка.

— Наверное, Альцгеймер, — очень добрый фей, — говорит Мишель. — Он охраняет стариков, как детей. Очень плохо, когда ты всем в тягость. Очень хорошо, когда ты этого не понимаешь. Самая приятная разновидность сумасшествия. Моя мама — не подумайте, у меня была мировая мама, просто немножко нервная и одиночка, — однажды вышла из себя и избила меня тапочком, а потом всю жизнь вспоминала и плакала. Мне было три года, и я не помню. Ей до сих пор больно, а мне не больно.

И в этом «не больно» сквозит вдруг такое отчаяние, что Варя, не выдержав, всхлипывает на весь зал, а потом зажимает рот руками, таращась в экран, увидев то, чего никто до сих пор не разглядел: Мишель привязана. Точнее, пристёгнута ремнями: один проходит под грудью, два других притягивают плечи к спинке кресла, их скрывают длинные волосы. Над левой бровью розоватый шрам, его не было раньше.

— Вот чёрт! — изумлённо шепчет Варя. — Вот ведь чёрт!

Ролик кончается, и начинаются смешные котики. Чаще всего в кинотеатрах заказывают смешных котиков.

В последний мирный год безумный миллионер Эмиль Горовиц придумал The Psyhic Burlesque Project. «Твою балаболку показывают, иди смотреть», — говорила мама, когда появлялся новый выпуск, и тогда Варя бежала к телевизору.

«Ерунда какая, — говорила мама, — сидят и треплются непонятно о чём. Ты погляди какой мальчик! Как его зовут? Его ещё покажут»?

Мальчика звали Неон, он был худой и нарочито плохо выбритый, с татуировками на бицепсах и серьгой в ухе. Варя не особенно его любила, он вечно гнал что-то заумное, но маме Неон отчего-то пришёлся по сердцу.

Варя любила Мишель. Варя была толстая, а Мишель худая. Варя высокая, а Мишель, наверное, едва достала бы ей до плеча. У Вари была русая коса, а у Мишель каштановые кудри. Варя жила у чёрта на куличках и каталась в школу на велосипеде, а Мишель была из Москвы и разъезжала, наверняка… скажем, в ландо. С шампанским. Что такое ландо, Варя не очень помнила, но звучало шикарно.

И вся эта «балаболка» заставляла Варю думать о ландо и шампанском: великолепные люди рассказывали в камеру о великолепных вещах. О любви и смерти. О королях и капусте. О Вирджинии Вульф и Умберто Эко. О политике и церкви. Горовиц гениально обманул цензуру, его актёры (Варе не нравилось называть их так: актёры врут, а эти люди были безупречно искренни) были слишком хороши собой и слишком откровенно одеты. Они слишком много говорили о ерунде, и поэтому никто не следил за тем, что они рассказывают. Чиновники сочли проект Горовица за очередное шоу для скучающих домохозяек и с удовольствием запустили в эфир: в мире творилась страшная чертовщина, интернет исчез год как, магазинные полки были пусты, людей нужно было как-то отвлекать.

Варя бежит из кинотеатра, задыхаясь от обиды. Она никогда, никогда больше не пойдёт в кино! Никогда не было сказочного заповедника красивых и умных людей, у которых всё хорошо. Никогда не было великолепной Мишель, была несчастная девушка, которую держали привязанной и заставляли говорить в камеру. Муся едва поспевает за Варей и спрашивает: «Что? Ну, ты что»?

— Сволочь, — думает Варя, — боже, какая сволочь! Все спрашивали, где он берёт деньги, чтобы платить актёрам, когда в стране кризис. Все восхищались им, а он был сволочь, и вообще не платил, и привязывал, и бил, вот же скотина, гадский карабас, как же холодно, — думает Варя, — надо быстрее домой, надо принести воды и сварить картошки. Муся отстаёт, но Варя не обращает внимания. Муся ей даже не подруга, а так: ходит хвостиком.

Друзей у Вари нет, нет и мужчины: год назад, сразу после войны, пришлось перебраться в Москву, пришлось много работать, и Варя так ни с кем и не познакомилась. Правда, есть Маша.

Маша — это стриженная под машинку говорящая голова на ситцевой подушке, к которой прилеплено беспомощное высохшее тельце. У неё четыре осколка в позвоночнике. «Дружба ли это», — думает Варя иногда, а иногда ужасается тому, что для Маши она — весь мир. Очень хотелось быть для кого-нибудь целым миром, но не так же… Варя работает в госпитале.

Маше можно рассказать всё на свете: она жадно ловит каждое слово и бережно хранит его потом внутри своей бедной умной

головы. И поэтому Варя прямо с порога выпаливает: «Представляешь, Эмиль Горовиц…» — и осекается, глядя на Машино озарённое лицо.

— Он был удивительный человек! — твёрдо говорит Маша.

И Варя решает не рассказывать дальше. Пускай. Маша наверняка в прошлой, довоенной жизни тоже сидела у телевизора по вечерам и слушала кого-нибудь из Psyhic Burlesque, а может, даже была влюблена в какого-нибудь актёра. Она очень расстроится. А какая теперь разница…

— На улице дождь, — говорит Варя. Такой особенный дождь. Вертикальный. Безветренный. Под ним хорошо гулять: идёшь как будто под двойной защитой — дождя и зонта. Я сегодня шла через реку и видела, как на перилах моста лежит белый мокрый свет. Через месяц там будет лежать белый мокрый снег.

(Ей вдруг приходит в голову: я ведь стала красивая. Похудела. У меня хорошие волосы. У меня было синее платье с лямочкой вот здесь, а тут открытое плечо. Сидела бы такая перед камерой и говорила: «Я сегодня шла через реку и видела…» Жалко. Господи, ну как же жалко!)

Маша слушает и улыбается.

— На улице плохая погода, — рассказывает Варя в другой раз, — а мы сейчас лампочку включим, и будет нам хорошо. Только в такую погоду можно заново почувствовать, какие прочные стены и какой тёплый свет. Как хорошо жить. Только жить на самом деле плохо, потому что я ужасно устала. Я вывихнула коленку на той неделе, а меня не отпускают поболеть. Я не хочу больше работать, вообще не хочу работать, хочу дом, торшер и книжку. Война давно кончилась, а они заставляют больного человека…

— Это ты зря, — говорит Маша. — Некоторые вещи нужно делать, даже когда не можешь. Даже если кажется, что никогда больше не сможешь. Потому что без них на самом деле очень плохо жить.

Всю зиму Маша тоскует, а Варя за компанию с ней — и очень боится: вдруг Маша умрёт. От тоски ведь запросто можно умереть. Пускай у неё ничего не болит, пускай она такая лёгкая и высохшая, что не бывает пролежней, но ведь всё может быть, что я тогда буду делать, — печально думает Варя. Читает ей книжки вслух, на ходу сочиняет

маленькие песенки — «Варя варит Маше гречневую кашу» — с этими песенками и прибаутками Машу всё же удаётся накормить. Так проходят февраль и март, и уже зеленеет апрель, а Маша даже ни разу не улыбнулась.

И тогда Варя говорит: мы с тобой идём гулять.

Раздобыть инвалидное кресло тяжело, а усадить в него этого сломанного кузнечика — плёвое дело: Варя сильная, а Маша невесомая. Только действительно совсем сломанная, нормально сидеть она тоже не может. Варя поправляет ей коленки, умещает поудобнее высохшие коричневые руки, но Маша норовит сложиться пополам и ничего не получается.

— У тебя есть пояс? — спрашивает Маша. Или ремень? Ну, хоть какая-нибудь верёвка? Если меня привязать…

Варя пристёгивает её ремнём к спинке кресла, пропускает под мышками полотенце и завязывает сзади через плечи, и Маша оказывается сидящей почти прямо, только голова немного свешивается набок.

— Сейчас мы с тобой поедем в Коломенское, — говорит Варя.

Чара

Данечка никогда не думал, что мама на такое способна.

Мама ведь тишайшая женщина в пастельных тонах, робкая неженка, последние годы живущая в смиренном благоговении перед домашним устроенным бытом. Всё кругом — её собственный, ненаглядный, вымечтанный и вымученный рай, и в этом раю она властвует и прибирается, для всего имея необходимые инструменты и средства. Эти салфетки, к примеру, для зеркал и стёкол, те для мебели, а в зелёной пачке — для хромированных кранов в ванной и на кухне. Для Данечки все они одинаково тряпки, иногда из-за этого получаются небольшие курьёзы и даже скандалы.

Когда он впервые завёл себе компьютер, мама замерла на пороге комнаты, издалека разглядывая серый гудящий ящик, потом нерешительно подошла поближе и спросила: он точно… ну… не взорвётся?

Данечка успокоил её, а потом потекло время и поменялась жизнь: дом их непонятным образом перешёл в категорию приличных, поменяли сантехнику, положили везде коричневый ламинат и бежевый кафель, маме купили большой телевизор с плоским экраном — и тогда она наконец смирилась с компьютером и поднесла ему дипломатический дар: антистатические салфетки для монитора и антибактериальные для клавиатуры. Что тут поделаешь: в приличном доме всегда есть компьютер, а в некоторых так даже два.

Маме решили завести ноутбук — она была недоверчива, но коекак освоила простейшие функции; Данечка потом сменил его на другую модель, получше и полегче, ещё через пару лет появился смартфон, потом планшет, а потом мама вдруг нашла с ними со всеми общий язык. И Данечка, и бабушка сперва посмеивались, потом высказывали тихое недовольство — ужина теперь приходилось ждать вдвое дольше, потому что мама должна была непременно его красиво сервировать, сфотографировать и выложить в инстаграм, — а потом привыкли. У бабушки с внуком никогда не было особенного взаимопонимания, но тут они сошлись: личную жизнь мама вряд ли уже устроит, характер у неё трепетный, склад личности интровертный, так что новых друзей и интересных компаний тоже не приходится ждать:

пускай хоть так. И занята, и присмотрена, и довольна. Беспокойства мамино увлечение никому не причиняло: разве что иногда ей случалось купить через интернет какую-нибудь красивую и бесполезную штуку, очень нужную в хозяйстве по уверениям рекламодателей, и когда штуку привозили, она долго в задумчивости сидела над ней на кухне, всем лицом и телом выражая обречённое недоумение.

И вот однажды случилось: бабушка позвонила Данечке на работу так, что из трубки на него пахну́ло корвалолом и большим скандалом.

— Приезжай немедленно, — слабым, но настойчивым голосом сказала она. — Мать твоя учудила…

Что она там могла учудить? — беспокойно размышлял Данечка в метро. — Может, робот-пылесос? Это ладно, его можно сдать, вернуть деньги. Может, заплатила где-нибудь кредиткой лишнего? Это тоже можно вернуть. В худшем случае…

И тут ему отчётливо представилась картина худшего случая. Цепкий смазливый провинциал лет сорока пяти, с которым — сейчас окажется — мать познакомилась в сети уже пару лет назад, у них любовь до гроба, и вот теперь мама поставила бабушку перед фактом: «Василий Петрович будет жить с нами». Сердце прижало не хуже, чем у бабушки: в малогабаритной двушке — принадлежащей к тому же матери по всем документам — только Василия Петровича и не хватало.

Но когда он пришёл, в коридоре не обнаружилось никакой мужской обуви, кроме его собственных, Данечкиных, кед и ботинок. Корвалолом пахло так, что хоть святых выноси. И чем-то ещё — смутно знакомым, острым и едким, но, кажется, приятным.

Бабушка вышла к нему стремительно, встала рядом, скрестив на груди руки, и громко, чтобы на кухне было слышно, сказала: ты гляди, гляди, Данечка, до чего мать-то твоя додумалась на старости лет!

Мама вышла из кухни одетая в тренировочный костюм, пятнистый и мокрый с груди до колен, морщась и держа во рту указательный палец.

— Укусила? — злорадно и одновременно возмущённо поинтересовалась бабушка.

— Даня, — сказала мама строго, как в детстве, — такое дело. Мы завели химеру. Ну, то есть, я завела.

— Твою мать, — растерялся Данечка.

— Я её помыла. На кухню пока не заходи. Пусть обсохнет, привыкнет. Я тебе поесть в комнату принесу, — тут на кухне довольно-таки крепко грохнуло, мама ойкнула и понеслась туда.

— Вот так! — заявила бабушка.

— Твою мать, — повторил Данечка и сел расшнуровывать ботинки, а потом, конечно, пошёл прямиком на кухню: живой химеры он никогда не видел.

— Руками не трогать! — сразу предупредила мама. — Анна Ивановна сказала, если её мокрую в руки брать, умываться перестанет.

— Не больно-то и хотелось, — поморщился Данечка, наблюдая, как устроившись на самом углу холодильника, склонив остренькую мордочку, химера быстро-быстро коротенькими передними лапками выщипывает что-то у себя из хвоста. Чудовище, конечно, пусть и мелкокалиберное, размером со среднюю кошку. А ещё она была жёлтая. С мордочки до пят покрытая реденьким коротким пушком цыплячьего цвета.

— А чего она жёлтая?

— Маленькая потому что, — объяснила мама, — это у неё не постоянная шёрстка, а пушок такой, младенческий. Вырастет, будет цвета — она подтолкнула к Данечке по столу глянцевую брошюру — «сумеречный гранат», то есть серенькая, а ушки, лапки и хвостик такие слегка бордовые. Тут вот всё подробно расписано, мне заводчик дал. А у Анны Ивановны Люся цветом как персидская кошечка, тоже очень мило.

— Люся?

— Зовут её так. Кстати, надо думать, как нашу назвать. Анжелика? Мне вот нравится. Хотя длинно.

— Ну, всё, — сказал Даня, — назови в честь Анны Ивановны, ей будет приятно. А я хочу жрать и спать.

Назавтра в офисе Палыч заметил, что Данечка провёл бессонную ночь, и сразу заинтересовался подробностями. Но молодой коллега был скучен и всё больше зевал, поэтому по дороге с обеда Палыч догнал его в коридоре и напрямую спросил, что произошло и не надо ли чем помочь.

— Мать сдурела, — с готовностью пожаловался Данечка. — Химеру завела.

— Это дело, — неожиданно одобрил Палыч. — Давно?

— Да вчера вот. Домой прихожу, она её моет. У бабки чуть ли не инфаркт.

— Да привыкнет потом. Химеры, они, знаешь, очень даже к старикам. И к детям. Моя вон с тёщей живёт душа в душу, телик вместе смотрят, из одной тарелки едят.

— А что они едят, кстати?

— Вообще корм специальный есть, — Палыч виновато вздохнул, — но на нём разоришься. Так что мы со стола даём. Яичный желток покрошить можно. Кефир тоже неплохо. Яблоки, только несладкие, зелёные, нарезать. Капусту там, огурцы. По чуть-чуть, для витаминов. Мясо когда даёшь, кипятком ошпарь сначала, а лучше вообще отвари. Организм неисследованный, мало ли как он к паразитам. И главное это, много не клади и следи, чтоб до конца съела. У них когда еда остаётся, они нычки делают по всему дому, будете потом бегать, искать, что где протухло.

— Вот же ж блин, — с чувством сказал Данечка.

— Да ладно. Химера — животное очень интересное. Не гадит к тому же. Такая вот загадка природы. Перерабатывает сто процентов пищи в энергию. Мне бы так, — Палыч смущённо хлопнул себя по выпирающему пузу. — Кстати, как обереги заказывать будете, ты мне маякни, я тебе ребят посоветую. Мне на все двери уже год как поставили, жена не нарадуется.

— Какие ещё обереги?

— Ну как же. В клетке её держать нельзя, она от этого звереет быстро, начнёт вырываться, поломается вся. Значит, пускают её гулять по всему дому. А если ты спать, к примеру, ложишься, а на двери оберега нет, то ночью она придёт и тебя задушит.

С работы Данечка ехал изумлённый и притихший. Чувство было такое, словно кто-то умер. Или очень болен. Или пропал без вести. Или повестка в суд в почтовом ящике. Надо было, конечно, серьёзно поговорить с матерью по поводу этого существа. Но чем меньше оставалось пути до дома, тем отчётливее он понимал, что не сможет начать разговора.

Надо было собаку ей, — думалось с запоздалым раскаянием, — померанского шпица, пусть бы носилась с ним. А теперь-то что…

Но, входя, он столкнулся с пацанами в рабочей синей форме, и мать уже бродила по квартире зачарованная, прикасаясь к маленьким серебристым чипам, налепленным на дверные косяки примерно возле уровня глаз взрослого человека.

— Запоминай, — сказала, — вот тут, справа, включить. А слева выключить. Когда включено, видишь, оба немножко светятся. Не забудешь?

— Мама, — проникновенно и печально сказал Данечка, — я забуду обязательно, и эта тварь меня задушит.

— Они не душат, — возразила мама, — они вообще очень добрые, любят людей, поддаются дрессировке. Просто приходят спать, как кошки, на грудь.

— И чего, кто-то помер от этого?

— Вообще-то они очень тяжёлые, когда спят. То есть, даже не тяжёлые, а…

Даня взял из её рук какую-то тонкую и тёплую серую газету, скользнул глазами по странице, прочёл: «спящая химера может просидеть в человеке колодец» — и изо всех сил ущипнул себя за бок. Стало больно, но проснуться не получилось.

— Отнесла бы ты её обратно, а? — безнадёжно сказал он, — где взяла, туда и отнесла бы…

— У всех приличных людей давным-давно есть химеры, — обиделась мама. — Корм вот купила, разорение какое-то.

— Палыч говорит, надо яичный желток покрошить. И кефиру можно.

Вечером он задремал всего на полчаса, а когда проснулся, ужас накатил такой, что даже пошевелиться вышло не с первого раза: химера сидела на груди. Она была холодная, и это был приятный холод. Не особенно тяжёлая, действительно как средняя кошка. Как только Данечка открыл глаза, химера потянулась к нему, и он даже не додумал испуганное «укусит!» — когда она ткнулась своим сухим и холодным носом в его нос — и отвернулась.

— Хорошая, — неуверенно и заискивающе сказал Данечка. — Кис-кис-кис…

Химера взмахнула кожистыми серенькими крыльями, не удержалась и сверзилась сначала с его груди на кровать, а потом с кровати на пол. Было потешно.

По запросу «funny chimeras» роликов в сети оказалось без счёта. Среди них были даже всемирно известные звёзды: например, чёрная химера Яшка, теряющая волю от звуков игры на фортепиано, и золотистый химер Чжин, готовый немедленно завернуться во всякий попавшийся полиэтиленовый пакет.

Данечка быстро усвоил технику безопасности: угрозу представляла только спящая химера. Чара — так мама назвала её в память чьей-то умершей собаки — однажды прикорнула у него на колене и в одно мгновение сровнялась весом с дедовой пудовой гирей. Больше он никогда не забывал потрогать оберег, заходя в комнату.

Поиск в сети выдавал ему восхитительные и страшные истории об этой особенности всеобщих любимцев. Так, спящая химера не просто тяжелела многократно, а переходила в иное состояние: заснув на груди хозяина, она погружалась в человеческое тело насквозь, до поверхности, на которой он лежал, при этом не повреждая внутренних органов и не причиняя травмы. И если она просыпалась самостоятельно и уползала или улетала — то есть, если её не пугали и не пытались согнать, — человек оставался невредим. Но стоило химеру спугнуть, вынудить дёрнуться с места — и то, что оставалось от хозяина, уже не могло стать ночным кошмаром травматолога, потому что попадало сразу к патологоанатому.

А потом на Данечку свалилась депрессия. Сам-то он поначалу думал, что просто приболел, но интернет оказался неумолим в оценке его состояния. Всё как по учебнику: он просыпался в пять часов утра, проводил весь день полусонный, всё время ходил на кухню и что-то ел, не чувствуя вкуса, с трудом заставлял себя принять душ, выдумывал причины не появляться на работе, и только к вечеру иногда удавалось немного развеселиться. И всё время болела спина, заклинило позвонок должно быть, и расклинить его обратно никак не удавалось. Причины для депрессии не было. Та острая печаль, от которой Данечка просыпался в неподвижной утренней темноте, была беспричинна и бесплотна. Каждый раз он смутно помнил, что видел сон. Какой и о чём — не мог вытащить из памяти, как ни пытался. Более того, он даже не мог определённо сказать, был ли это мучительный кошмар, вытянувший за ночь все силы, или наоборот видение столь чудесное, что явь в сравнении с ним оказывалась адом.

Здесь тоже помог интернет: он быстро обнаружил множество форумов, на которых люди делились схожими симптомами, недвусмысленно связывая их с появлением химеры в доме. Прочтя несколько обсуждений, Данечка понял, что проблемы с настроением и самочувствием возникают чаще не у владельцев химер, а у их родственников, не выбиравших разделять жизненное пространство с неведомой зверушкой, а просто поставленных перед фактом. И что объясняется всё очень просто: химера — всё-таки не кошечка, не собачка и даже не ящерка: чуждая и необъяснимая форма жизни, может быть даже внеземная, и нормальная реакция нормального человека на такое создание — ксенофобия. Но с тех пор как химеры вошли в моду, многие люди вынуждены скрывать своё отношение к ним, чтобы не расстроить родных, и это не проходит даром: такая депрессия по сути — конвертированная фобия.

Как следует начитавшись, он пошёл на кухню, поставил чайник и сделал пару бутербродов. Чара взлетела на холодильник и принялась разгуливать взад-вперёд, наклоняя голову и косясь жёлтым древним глазом. Он отщипнул несколько кусочков колбасы и протянул ей на ладони, отметив, что это машинальный, привычный жест, и что если бы он хоть немного боялся Чару или она была бы ему действительно неприятна — разумнее было бы положить колбасу в её миску. Всплыло воспоминание — он как-то уже кормил Чару с руки, наверное, её специальной едой, мелкими янтарными горошинами, которые приятно было держать в горсти. Не поленился даже проверить: нет, специальный корм для молодых химер представлял собой тёмные кусочки вяленого мяса с вкраплениями сушёной зелени и мелких семечек. Может, были такие витаминки? Или это была чужая химера, у кого-то в гостях, например? Хотя если бы Данечка видел химеру до появления Чары — он бы запомнил.

Несколько дней спустя он обжёгся крапивой у подъезда. Шёл себе, шёл — и вдруг привычно и уверенно сгрёб горстью с колючего стебля тяжёлые соцветия и молодые листья, обжёгся, бросил на землю, выругался, остановился в удивлении. Так должны были бы расти янтарные горошины для Чары — на языке крутилось даже название растения, но никак не произносилось. Он собирал их вот так на ходу тысячу раз. Или не для Чары, для другой химеры? И что это за растение, в

конце концов? И какая может быть другая химера, если всех, кроме собственной, он видел только на фотографиях?

А помнится другая. И собственная рука в тяжёлой замшевой перчатке, собирающая эти светлые ягоды.

— Чёрт знает что, — сказал Данечка вслух.

Поднялся домой, подержал руку под холодной водой, одновременно внимательно разглядывая себя в зеркале, зашёл в свою комнату, выключил оберег и позвал: Чарка, иди сюда!

В коридоре неуклюже зашелестели крылья и зацокали когти.

— Иди сюда, говорю, — Данечка завалился на кровать и похлопал себя по груди, как будто подзывал кошку.

Чара приземлилась и умиротворённо сложила крылья.

— Будем спать, — сказал Данечка и затих, следя, как глаза химеры затягиваются мутной плёнкой. Было совсем не страшно. Он видел перед собой мордочку, похожую на лицо кошачьей мумии, опускающуюся всё ниже и ниже; тяжело тоже не было. Примерно через десять минут оказалось, что химера сидит одновременно на его груди и на кровати, непонятным образом пройдя его тело насквозь.

«Если сейчас зазвонит телефон, — вдруг подумал он, — или грохнет что-нибудь за окном, то это конец». И тоже совсем не испугался, и тоже задремал.

Когда он проснулся, шёл дождь и начинало темнеть, Чары не было.

Он осторожно потрогал место, где она сидела, ожидая нащупать провал или какой-нибудь внятный след, но не нащупал ничего, кроме собственных рёбер. Сел, нашёл ногами тапочки под кроватью. Прислушался — мама возилась на кухне. Спина больше не болела. «Зачем люди вообще селятся в таких местах, где постоянно идёт дождь?» — недовольно подумал он, а потом подумал ещё, что всё вокруг стало как будто слегка чужое.

По кухне плавали серые сумерки; мама сидела на табуретке, закутанная в плед, и кормила Чару с руки консервированной кукурузой.

Она очень изменилась в последнее время, понял Данечка. Пропала её робкая суетливость, исчезли неуместные для взрослой женщины детские повадки, она перестала втягивать голову в плечи, держась теперь расслабленно и величественно.

— Ты вспомнил, — не спросила, а утвердительно сказала мама, обернувшись к нему прекрасным лицом.

Данечке стало вдруг так легко и спокойно — всему сейчас должно было найтись объяснение, надёжное и верное, хотя его, по правде говоря, устроило бы любое, — что он соврал: да. Да, почти.

III РЕКА НЕПРАВДА

Волчьи ягоды

К мёртвому языку существуют различные подходы: Перекопов начал понимать это уже на первой неделе сентября.

Четвёртый корпус, — шутили на переменах, — давеча эвакуировали, потому что Тамара Петровна опять случайно вызвала Сатану.

Тогда же в повседневном словаре Перекопова появилось ругательство «хтонь», да и вообще словарь начал распадаться, затуманиваться, прорастать сорняками (он почти наяву видел белёсые слабые корни этих никчемных слов), как бы ни гордился он прежде чистотою собственной речи. Ему требовалась защита от Тамары Петровны, латинской ведьмы, кряжистой старухи с чёрными крашенными волосами, особенно когда та подходила к первой парте и опиралась обеими руками, нависала сверху всем своим древним тяжёлым телом, предоставляя Перекопову заворожённо разглядывать массивные перстни на пятнистых старческих пальцах. Пахло от неё сладко и страшно: дешёвыми литовскими духами, лежалой пудрой, торфяным болотом, и жабьей лапкой, и высохшей нетленной крысой, и краденым ладаном, и подвалом; тогда Перекопов поднимал голову, чтобы встретиться с нею взглядом.

Глаза у Тамары Петровны всякий раз — против ожидания — оказывались обыкновенные, тусклые, небольшие, почти утонувшие в красноватых мясистых веках.

Совершенно хтоническая была старуха: на лекциях она буйствовала и неистовствовала, она забивала в ленивые студенческие головы падежи и склонения, облекая их в страшные заклинательные речитативы, и глухо перестукивались снизки серых и зелёных камней на огромной её груди.

Иное дело Ольга Борисовна, хрупкая не первой молодости барышня в переливающихся насекомьих очках. Злодейка судьба определила её вести латынь у другой группы, последними счастливчиками в ней оказались те, чьи фамилии начинались на букву «Н», и Перекопов в их число уже никак не попадал. Ольга Борисовна напоминала немного учительницу начальных классов или медсестру. В устах её латынь оказывалась великолепно, академически мертва, словно засушенная редкая бабочка или заспиртованная лягушка, подлежа тщательному

разбору и спокойному изучению. Чтобы спасти свои неожиданно слабые нервы от хтонической Тамары Петровны, Перекопов принёс в деканат справку о трудном материальном положении, пояснил, что вынужден работать, и попросил разрешения уходить в пятницу с двух пар жуткой старухи, а вместо того присутствовать в понедельник на двух же парах безобидной Ольги Борисовны. Замдекана, особенно не вникая, пошла Перекопову навстречу.

Ольга Борисовна везде носила с собою огрызок простого карандаша с ластиком в серебристой мятой держалке. Карандаш служил ей по прямому назначению, а иногда указующим перстом, а разговаривая, она качала его в нетвёрдой руке ластиком кверху, и студенческие макушки покачивались ему в такт.

— Латинский язык мёртв — говорила она так печально и серьёзно, словно возвещала, что бог умер. — Все до единого носители латинского языка мертвы уже много столетий, мы не можем услышать на улице латинской речи. Что же остаётся?

— Катулл, — вдруг сказал тогда Перекопов. — И Гораций.

Он был старше всех в группе и давно уже выбривал щёки до синевы, пока его однокурсники, недавние школьники, изо всех сил отращивали скудные усы и комические бородки. Падежи и склонения были чужды ему, но латинский текст — в силу общей начитанности — он худо-бедно мог разобрать.

А Ольга Борисовна тогда приподняла очки и посмотрела на него близоруко, нежно и внимательно, как девочка.

Было в ней что-то от ребёнка или инвалида: неуверенная походка, общая какая-то нескладность: втянутая в плечи шея, нос коротеньким клювиком, придававший Ольге Борисовне сходство с Павлом Первым или кунсткамерным младенцем, привычка двигаться немного боком, выставляя вперёд маленький острый локоть. Перекопов предположил, что в детстве она перенесла тяжёлую болезнь, серьёзно повредившую её внутреннее устройство. Впрочем, к ноябрю он имел запасной ключ от лингафонного кабинета и знал, что Ольга Борисовна внутренне устроена как все остальные женщины. Если бы она оказалась девушкой к своим тридцати шести годам (что при её профессии, сложении и манере поведения вовсе не представлялось невероятным), Перекопов несомненно чувствовал бы страх и стыд от

нарушения устоявшегося порядка чужой жизни, и даже, наверное, некоторую ответственность, а так всё было словно бы нормально: два взрослых человека, волею судьбы поставленных в положение студента и преподавателя, взаимное согласие, никаких обязательств.

В декабре она заболела, а это — по отношению к Перекопову — было хуже чем предательство. У него уже имелся один несданный зачёт, и проваленная латынь могла бы повлечь более чем серьёзные последствия. Конечно, его вряд ли исключили бы за неуспеваемость, но сессия грозила быть на редкость непростой. А потом Перекопову вдруг пришло в голову, что Ольга Борисовна ничего не знает о его действительных отношениях с латинским языком, весьма поверхностных, и что сам он не может предсказать её поведения. Возможно, не будь больна, она поставила бы ему зачёт автоматом. А возможно, поверхностность его знаний оказалась бы для неё оскорбительной, и тогда дальнейшая судьба Перекопова стала бы непредсказуема. Эта мысль освободила его, и в кабинет хтонической Тамары Петровны он вошёл с лёгким сердцем.

Страшная старуха против ожидания не стала мучить его и не стала мстить за перевод в другую группу. На бывшего своего студента она взглянула не то чтобы как на пустое место, скорее как на привычный и неодушевлённый предмет; ни о чём не спросив, цепкой коричневой рукою взяла у него зачётку, с нажимом расписалась в ней и протянула обратно. За те три месяца, что Перекопов не видел её, Тамара Петровна обзавелась в точности такими же очками, как у Ольги Борисовны: узкими, в лёгкой оправе, с жёлтой и лиловой надцветкой на стёклах, напоминающей разлитый в воду бензин.

С Ольгой Борисовной на январских каникулах пошли в ресторан; это Перекопову ударило в голову глупое молодечество — решил, что в ресторане-то она, такая скромная и тихая, точно никогда не бывала. Он, по правде говоря, тоже бывал раз или два: всю сознательную жизнь проведя стеснённым в средствах, Перекопов решительно не понимал, как можно вдесятеро переплатить за возможность съесть крошечную креветку и салатный лист в полумраке под музыку. Но ему хотелось произвести впечатление.

На Ольге Борисовне в тот вечер оказалось малиновое жёсткое платье, открывавшее грудь и длиною доходившее до колена, волосы она

собрала в пучок на макушке и украсила шпильками с блестящими навершиями. Со стыдом и жалостью Перекопов понял, что это выпускное её платье, яркое и нищенское, какою была вся нарядная одежда двадцать лет назад. И что если Ольга Борисовна когда-то давно неудачно побывала замужем — об этом кто-то, кажется, говорил, — то замужество её состоялось в этом же платье. В тот вечер она сутулилась больше обыкновенного, хваталась руками за шпильки в волосах и очки, ей было неловко и трудно. Блестящую, в цвет платья, помаду с её губ хотелось стереть, взять со стола салфетку и стереть, как будто она не провела перед зеркалом час, старательно вырисовывая неприглядный тоненький контур и заполняя его ядовитым блеском, а просто случайно испачкала рот. В тот вечер Перекопов впервые проводил её до подъезда, смутно чувствуя, что совершает нечто важное, хотя это было, конечно, смешно, если учитывать встречи в лингафонном кабинете. Одевшись в дублёнку и меховую шапку, выйдя из ресторана на улицу, Ольга Борисовна сразу почувствовала себе увереннее, стала обычной и даже милой, и по пути прочла Перекопову увлечённую лекцию о разнице в понимании природы катарсиса у древних греков и современных обывателей. Перекопов шёл рядом и отстранённо наблюдал, как она взмахивает рукою в детской вязаной варежке, как мелькает над коленями, между дублёнкой и тяжёлыми зимними сапогами, нелепый малиновый подол, и вдруг глупо сказал: Оль, а ты пошла бы за меня замуж?

Она не застеснялась и не расстроилась, а задумалась всерьёз — тут Перекопов проклял всё на свете — и наконец сказала, что, к сожалению, пока не знает.

Встречи в кабинете после этого прекратились: Ольга Борисовна стала избегать Перекопова, хотя случайно столкнувшись с ним в коридоре или на лестнице, улыбалась нежно и многообещающе. Что-то творилось, готовилось, обретало форму в её странной умненькой голове, и Перекопов этого заранее уже боялся. Поэтому подвернувшуюся поездку на конференцию в неожиданную даль, в заснеженную глухую провинцию — студентом он был ленивым, но подающим надежды, и оказался приглашён — воспринял как избавление и собрался немедленно.

Уже в автобусе напала на него такая мучительная тоска, что всю дорогу Перекопов не находил себе места. Кругом были свои, знакомые люди, в тесном салоне располагались как могли. Коротко стриженная носатая девица тыкала пальцем в планшет, улегшись поперек кресел и выставив в проход длинные ноги в цветных гетрах. За её спиною шебуршались и выпивали. То здесь, то там коротко взрывался захлёбывающийся хохот — не потому, что прозвучало смешное, а скорее просто так: от избытка молодости и свободы. Не то чтобы Перекопов вдруг почувствовал себя старым, больше неуместным. Ему захотелось домой.

В целом свете, — понимал он к ночи, уткнувшись головою в холодное стекло и следя тусклые огни за полем, — у меня никого нет.

Я умру, — подумал он и не ощутил никакого внутреннего сопротивления. Прислушался к себе. Смерти, во всяком случае близкой, ничего не предвещало; он поёрзал в кресле, чтобы как следует почувствовать беспрепятственную и размеренную работу своего организма. Я умру, — снова подумал он, — и мне никого не жаль будет покинуть. С одной стороны это было ничем не страшно, но с другой — ощущалось так, словно он внутри себя случайно прищемил дверью палец.

Когда редкие огни за окнами автобуса сменились постоянными, и частыми стали остановки на светофорах, что означало скорое завершение пути, Перекопов жалел, что на заправке, где все побежали в магазин и в туалет, не купил водки и не напился по дороге. Некоторые так и сделали, и теперь оглядывались вокруг мутными непонимающими глазами.

Напился он уже в гостинице, стремительно и неумело, до тошноты и головокружения. Должно быть, во сне ему очень хотелось воды, потому что там Перекопов шёл по лесу, одержимый нечеловеческой жаждой, и оглядывался на собственные следы: не проступит ли вода сквозь придавленный мох. Но проступала только тёмная болотная слизь, пить которой он не решился бы даже в самом отчаянном положении. Там, во сне, его занимала и тревожила невозможность определить время суток и даже время года: он разве что мог уверенно сказать, что это не зима. Сновиденный лес был сер, колюч и особенным образом прозрачен. Из-за прозрачности этой Перекопов влетел лицом и всем телом в невысокий куст и внезапно проснувшимся

детским рассудком юного натуралиста опознал в нём лесную жимолость. Красные ягоды, усыпавшие тонкие ветки, были несъедобны, но не ядовиты, и во сне Перекопов набил полный рот этих ягод, но не ощутил ни вкуса, ни утоления жажды.

Проснулся он поздно, с гудящей головой и саднящим горлом, обнаружил отсутствие горячей воды в душевой, кое-как умылся и выгнал себя на снежную пасмурную улицу. Университет был недалеко, основное его здание напоминало церковь и тянуло тонкий жёлтый шпиль из-за соседнего с гостиницей дома.

Войдя в главный корпус, Перекопов определил для себя, что сегодня не собирается посещать конференцию, а зашёл просто погреться и подумать о дальнейших планах. На первом этаже было пусто, гардеробщица в синем халате дремала на своём рабочем месте, и беспокоить её Перекопов не стал. Он неспешно прогулялся вдоль высоких окон, повернул сначала в левый, пустой и тёмный коридор, потом в правый, где на стенах висели рукодельные стенды с газетными вырезками, желтеющими под оргстеклом ещё с советских времён. История университета, поведанная старыми газетами, оказалась ничем не примечательна, но он внимательно прочитал все до единой вырезки, чтобы убить время. Одна статья, опубликованная задолго до рождения Перекопова, убеждала читателей в необходимости организовать студенческие чтения, посвящённые памяти матери и дочери Гольяновых, преподававших в университете латынь и античную литературу и трагически погибших в автомобильной аварии в шестьдесят четвёртом году. От чёрно-белых фотографий, сопровождавших статью, в похмельной голове Перекопова прояснилось, он прочёл ещё раз и ещё раз внимательно присмотрелся, а потом быстрым шагом вышел на улицу и направился к ближайшему киоску. Оставшееся время — с полудня до следующего утра — выпало у него из памяти.

На следующий день он чувствовал себя куда лучше, выглядел достойно и хорошо выступил на конференции. От запланированной экскурсии по городу отказался, предпочтя прогуляться пешком в одиночестве. Приобрёл в музейной лавке набор открыток с видами, чтобы отправить матери почтой, и берестяной брелок в виде рыбы с зелёным глазом. Потом заплутал задворками, но вскоре всё же вышел на главную улицу, расчищенную от снега и обросшую многочисленными магазинами и ларьками. Там разыскал ювелирный магазин.

На обратном пути он ни о чём уже не беспокоился и умиротворённо смотрел в спинку автобусного кресла перед собою. Во внутреннем кармане куртки Перекопова лежал возможный пропуск в иную жизнь, если не вечную, то определённо очень долгую: кольцо из белого золота, украшенное микроскопическим якутским бриллиантом.

Прежний, вчерашний Перекопов в нём пытался волноваться и задаваться вопросами — а что, если придётся, к примеру, пить человеческую кровь? А что, если нужно будет…

Всё будет хорошо, — отвечал ему сегодняшний уверенный Перекопов.

Понедельник прошёл совершенно пустым: юным студенческим организмам оказалось не под силу дотащить себя до лекций после конференции. Он отсидел четыре пары, исправно конспектируя и отвечая. Латынь оказалась отменена, потому что Ольга Борисовна уехала по своим диссертационным делам в Санкт-Петербург. Ведьма же Тамара Петровна была сегодня на месте: как только Перекопов вышел во двор, впереди замаячило её зелёное пальто и мятое облако чёрных, похожих на крашенную паклю, волос. Теперь, когда он всё знал, Тамара Петровна не пугала его больше, хотя обернулась стремительно, и уставилась внимательно, и будто бы с первого взгляда непонятным образом удостоверилась, что он действительно всё знает.

— А Оля уехала вчера, — сказала она Перекопову обыкновенным старушечьим голосом, в котором проще было расслышать подступающее слабоумие, чем страшные отголоски латинских заклинаний.

— Я знаю, — сказал Перекопов, — давайте помогу.

И, не дожидаясь разрешения, взял из её рук тяжёлую сумку.

Близкие контакты

Кот был мой; роскошный был кот, тяжёлый, пушистый, дымчатый, с утомлённым и снисходительным выражением лица: назвать это мордой не повернулся бы язык. Его звали Сенька. Мы мало дружили, он любил маму. Точнее, он был влюблён в маму, он спал у неё под боком, и на коленях у неё, и расслабленно валялся у ног, и говорил с ней своим нечеловечьим языком, и вылизывал ей руки. Хотя мама была почти равнодушна к Сеньке, и вообще это я когда-то принёс его с улицы.

Одноклассники напрашивались в гости — недалеко, до прихожей, с телефонами и мыльницами, чтобы сфотографировать его и вскоре поведать миру: смотрите, как выглядит Ёшкин кот!

И Янка поймала меня в той же прихожей, в пыльном луче света из кухонной двери, и тоже поделилась фотографией, и написала: смотрите, это Ёшка, хозяин Ёшкина кота.

Если бы можно было вклеить эту фотографию в паспорт — я бы вклеил. Там действительно был я, хотя маме она ужасно не нравилась. У неё тоже была мыльница, и она всегда снимала меня где-то возле книжных полок или своих аспарагусов, прижав руки с фотоаппаратом к животу, отчего я получался великанским микроцефалом с выдвинутой нижней челюстью, как боксёр или очень сильный дебил. На Янкиных фотографиях я выглядел маленьким, детским, пересвеченным, беззащитным, каким и был когда-то; но мама давно забыла, а я нет.

Мама называла её «эта» или «эта твоя», и никогда по имени.

Она боялась, что я вырасту и женюсь на Янке.

Мы познакомились в шестом классе и не расставались больше.

Янку из школы иногда забирал папа: лысоватый, худой и высокий, с тонкими, почти невидимыми очками на носу. Папа был снайпер. Его опасное очарование окутывало Янку с ног до головы, она во всём была стремительна, легка и точна. Я привык удивляться им вслед — как это он в очках, разве можно? — и потом вдруг узнал, что дальнобойщик это не снайпер вовсе. И ещё позже узнал, что он страшно пьёт.

На зимних каникулах рисовали фломастерами генеалогическое древо. Я был Иосиф, сын Арье, по всем документам — Осип Игоревич, а в школе — Ёшка. Я всегда был Ёшка вообще-то, ещё с детского сада: дед звал меня Йося, а другие дети не выговаривали.

Она была Иоанна, дочь Иоанна, Жанна Ивановна, а в школе — Янка. Потому что Жаннами, говорила она, зовут только продавщиц и стюардесс.

Мы подружились, как звери одной породы. Мы, почти бесплотные в детстве, худые до прозрачности, как лагерные или военнопленные, были медлительны и тяжеловесны: слишком много имён приходилось на наши скудные детские «я».

У Янки не было ни единой веснушки. Как будто она была ненастоящая. Рыжая, просто вырви глаз какая рыжая; волосы — облако хрупкой вьющейся проволоки, а сама белая три времени в году, и летом — сплошной шевелящийся и говорящий ожог. Ни веснушки, ни родинки, ни даже прыщика на носу или подбородке. Только маленький розовый шрам за левым ухом, ближе к шее. Потерялась однажды в лесу, бежала себя не помня на далёкие голоса, навернулась — и об камень, или о сучок, пришлось зашивать потом, зато нашлась, нашлась… Я любил этот шрам у неё. Если бы не он — я бы, наверное, Янку побаивался.

Янка была выше меня на целую голову, мама как раз за это невзлюбила её сначала.

Сдалась она тебе, — выговаривала раздражённо, разглядывая майскую фотографию нашего седьмого «Б», — вот Поля Ивлева, посмотри, какая чудная девочка. Отчего вы не дружите? А Галя Юшманова, неужели она тебе совсем не нравится?

Она выбирала самых маленьких: тех, что на фото были ниже меня.

А я там, во втором своём ряду, стоял на цыпочках, и все девочки в классе на самом деле были выше.

Но возненавидела Янку она потом. Было долгое лето, яблочный август был, и на дачу к тёте Любе за яблоками я категорически отказался ехать без Янки. Нас втиснули в жаркие «Жигули»: меня к окну, с сумкой под ногами, Янку к дедушке на колени, и мы поехали.

И дед, который давно уже болел — это сейчас я понимаю, что он был совсем нестарый мужик тогда, — обливал нас из шланга, пёк нам картошку, а Янку, невесомую, сажал на плечи, чтобы дотянулась до самых лучших яблок. И она возносилась в нагретую солнцем древесную зелень так высоко, что я видел только её тонкие фарфоровые ноги на дедовых плечах.

И дед хохотал, а Янка кидалась в меня яблоками.

Потом мы сидели на борту огромной чугунной ванны, в которую стекала вода с крыши. В ванне плавали бледные паданцы с чёрными язвами на боках. Дед то и дело выходил покурить, сначала на крыльцо, а потом спустился к нам и вручил две маленьких шоколадки. Он смотрел на нас так тоскливо, как будто жалел.

Это сейчас я понимаю: больше всего на свете он, седой вальяжный красавец, хотел тогда быть худеньким нескладным мальчиком Йосей четырнадцати лет.

Мама на кухне резала яблоки — весь стол в кожуре и семечках, жар от кастрюли с вареньем, кругом золотые осы — и шипела сквозь зубы: крутит мужиками как хочет, далеко пойдёт.

Дома она долго выговаривала мне за Янку. Я ничего не понимал.

Дед прожил ещё почти два года. Янкин отец умер в то же лето, через две недели после деда. Она потерялась на его похоронах, так сказал кто-то, потерялась и не нашлась, и тогда я позвонил Тольке Власову, и мы целый день обходили кладбище и соседние осинники, глядя под ноги в поисках каких-нибудь следов или примет, время от времени вопя во всё горло: «Янка-а-а!» Потом мама рассказала, что всё было совсем не так: у подъезда стояла машина Янкиного дяди, чтобы везти их с мамой в морг на прощание, Янка первой побежала вниз по лестнице, но из подъезда не вышла. Вызвали милицию, участковый обошёл все квартиры, но без толку.

Ещё через пару дней заболел Сенька, у него что-то случилось с почками. Мама возила его к ветеринару. Я оставался в пустой квартире — бабушка ещё была на даче, — читал, играл, разогревал суп и обречённо думал, что в это проклятое лето потеряю сразу троих: деда, Янку и Сеньку.

А через неделю она позвонила как ни в чём не бывало и сказала: выходи!

Она стояла у подъезда совершенно обыкновенная, в сарафане и босоножках, и тогда я впервые обнял её. Чувство было такое, как в жаркий день на даче, когда с перегретого двора бежишь на прохладную веранду и прижимаешь к щеке фарфоровую чашку.

Она сказала: я была у друзей. И ничего больше не стала объяснять.

Успокоила меня насчёт Сеньки: с кошками так бывает, сказала. Ему теперь нужен специальный корм и вода ни в коем случае не из-под крана. Он сильный, он ещё сто лет проживёт.

У мамы потом была тайная и недобрая радость: Янка заваливала английский и геометрию. А я не заваливал ничего. Золотая медаль на наш одиннадцатый «Б» полагалась одна. Она полагалась мне…

А досталась всё равно Янке. Она написала тесты лучше. Написала так хорошо, что её дважды перепроверяли. Проверкой остались довольны.

И тогда мама, поглядывая на меня оценивающе, стала вдруг говорить: ты её держись. Умная девка. Далеко пойдёт.

И мне вдруг стало можно звать Янку в гости, но я остерегался, как будто мама замыслила против неё плохое. На самом деле она плохо думала обо мне, я её разочаровал.

За два дня до выпускного я поздно пришёл домой. На кухне под столом стояла пустая бутылка из-под вина. Мама сидела в халате, печальная и задумчивая.

— Ты имей в виду, — сказала она, — я понимаю, вы почти взрослые люди. Всякое бывает. Я уверена, что вы предохраняетесь. Не хочу знать подробностей. Но если даже нет… или если что-то не так… ты имей в виду, что я всегда вам помогу. Вам надо учиться. Если вдруг встанет вопрос… ну… про ребёнка… Ты имей в виду, что мне год до пенсии. И что я хочу внуков.

Насчёт тестов Янка тогда сказала, словно оправдываясь: мне помогли друзья. Я возмутился бы, но мы писали в одной комнате. Она ни разу не выходила. Отец её был дальнобойщик и алкаш, зато мать из профессорской семьи. Конечно, у неё были друзья. Конечно, они подготовили её так, что мне и не снилось.

Перед выпускным вечером она пришла за мной. Мы договорились встретиться на улице, но я не смог вовремя выйти: мне в десятый раз

перевязывали галстук, приглаживали волосы и давали наставления не пить и не общаться с малознакомыми неприличными девушками.

Раздался звонок, и Янка возникла на пороге в убийственно коротком розовом платье.

Сенька, всегда флегматичный и ласковый, вдруг взвыл не своим голосом, метнулся шерстяной молнией — и в те несколько секунд, что мы не могли оттащить его, изодрал ей ноги в кровь.

Мама хлопотала, ворковала и кудахтала, усадила Янку на кухне, залила царапины перекисью, достала из шкафа длинное платье в кружевах старинного лежалого цвета, своё свадебное. Такое свежее и отглаженное, будто приготовленное заранее. Заколола булавками там, где Янке оно было не совсем по фигуре. Причесала её по-другому, перекрасила ей лицо, и мы пошли. И Янка на выпускном была лучше всех.

Сенька ночевал в кладовке, а наутро имел удручённый и смущённый вид. Никогда прежде и никогда после ему не случалось нападать на людей.

Потом мы не виделись два летних месяца, и всё изменилось.

Во-первых, Янка жила теперь в общежитии, и чтобы увидеть её, я должен был ехать полтора часа с пересадками.

Во-вторых, теперь её звали Жанна. Я приезжал, мы выходили во двор, и какая-то белобрысая девушка орала из окна третьего этажа: «Жанка, мы пельмени твои возьмём? Вечером другие купим!». И Жанна ей махала рукой и показывала большой палец — возьмите, конечно.

Янка — это как-то по-детски, — говорила она. — Всем не нравятся свои детские имена. Это, знаешь, как фотография в паспорте. Всегда так бывает, что человек вроде нормальный, симпатичный, а в паспорте — урод. Ты ведь привыкнешь, правда?

Я привык. Я и сам поменял в паспорте деревенского Осипа на библейского Иосифа, хотя у бабушки через это чуть не случился инфаркт — «что ты затеял, мало ли, вдруг трудные времена».

И мы стали как будто легче и проще. Всё неземное облетело с Янки фарфоровой и костяной шелухой, и я теперь мог поцеловать её, не боясь задохнуться.

И я бессовестно врал разным женщинам, что прежде никогда, и опускал глаза, и тогда они всё делали сами.

Новый год мы хотели встречать вместе на нашей даче. Собрали нескольких школьных друзей. Я в два захода возил продукты, шампанское и пледы. Телевизор показывал рябь по всем каналам, и Власов артистически симулировал новогоднюю речь президента. Мы напились. Жанна не приехала.

Я звонил ей в общежитие и домой, но никто не взял трубку. Должно быть, опять вмешались её непонятные друзья.

Она действительно была с ними где-то за городом, замёрзла, промокла, простыла. Извинялась, шмыгала носом, куталась в шаль поверх пижамы, щурилась больными глазами. Я выругался и ушёл.

Она болела ещё две недели, отказывалась видеться со мной, чтобы не заразить, сдала два экзамена на «отлично», на выходных мы договорились встретиться, но в субботу она не смогла встать с постели.

Потом мне звонила её мама, страшно, будто с того света, шепча: Йосенька, горе какое…

Потом я шёл к ней в больницу с апельсинами и кефиром, а ей ни того ни другого было нельзя, и она сидела там, за стеклом, прозрачная, будто голубая на просвет, в байковом халате и шерстяных носках.

Потом я носил её маме какие-то статьи про целительный прополис и утешительный болиголов. Больше всего на свете, когда мы встречались в больничном коридоре, я хотел прижать к груди её непричёсанную голову и завыть в голос.

Её мама однажды вцепилась в меня жуткой паучиной хваткой и бесстрастно сказала: приготовься, она умрёт.

Потом Жанну выписали домой.

Боже мой, боже мой, она ходила ногами и глядела глазами, она была как всегда, в той же зелёной куртке и белой вязаной шапке, что и прошлой зимой. Мы ели мороженое, мы ходили в кино, и в кафе, и просто гулять, и я всё время думал, что скоро весна, и я увижу, какая она теперь без шапки. Или эта весна будет только моя, как золотая медаль.

Мы залезли на крышу дома, где жили Власов и Соболевский: они давным-давно сделали мне дубликат ключа от чердака. Кругом, куда ни посмотри, был лес, и только слева трасса, и только дальше за ней

огни другого города, я всё время забывал посмотреть по карте, какого.

Я не могу больше, сказала Жанна, сам ведь понимаешь, я не могу больше. Маме надо жить. Тебе надо жить. А я не могу. Мне будет так больно, а она всё будет говорить: потерпи, потерпи… Я буду страшная, а ты придёшь и увидишь. Я хочу, чтобы это кончилось. Я совершеннолетняя и могу решать.

Губы у неё были красные, как у живой, и щёки красные от мороза. И прозрачные, чужие, светлые глаза. И что-то поднялось изнутри меня сплошным и страшным вопящим адом.

Кажется, я тоже поднялся.

Кажется, я тоже заорал.

Одно бесспорно, потому что осталось в памяти: я отмахнулся от Жанны своими живыми и горячими руками, я толкнул её в закостенелый спёкшийся снег на крыше, я разбежался и прыгнул.

И ничего не кончилось.

У меня был полный рот снега, и полные уши снега, я ничего не слышал и не мог сказать, кто-то царапал меня по лицу, как будто Сенька пришёл забраться под одеяло, но это была Жанна, она выгребала меня из сугроба, она отряхивала с меня снег, как с неодушевлённого предмета, она спрашивала, как будто издалека: ты можешь встать? Я мог.

И я, шипя от боли — потом оказалось, что сломаны два ребра, — обещал, что не буду так больше.

И она обещала, что тоже не будет. Через неделю её положили в больницу снова.

А потом Жанна попросила меня украсть её.

Я поверил, я страшно поверил, я знал её маму.

Ты понимаешь, — твердила она, — ты же всё понимаешь, она так любит меня, но совсем сошла с ума, она меня убьёт. Они меня здесь убьют.

У меня есть друзья, — говорила она, — они обязательно помогут, они всё сделают, но мама слышать не хочет. Она думает, раз от меня здесь отказались, значит, и там откажутся. Она меня травками хочет лечить. Ты ведь поможешь, правда?

Грузовой лифт оборачивался дверями в приёмный покой, он работал круглые сутки, и мы спустились на этом лифте в ночь с субботы на

воскресенье. Приёмный покой был полон, нас заметил только охранник, но не пошёл следом: решил, наверное, что дети балуются. Мы выбежали за забор больничного городка и сели в машину.

Ехали долго, пока она не сказала: здесь. И ещё сказала: не ходи за мной. Но я пошёл, потому что кругом была нежилая пустота. Лес и поле. Дачные участки, брошенные на зиму. За лесом электростанция. Ничего больше.

Мы шли в снегу по колено под самой линией электропередач, у меня сил уже не было идти, и тогда Жанна сказала: я сама.

И я ещё пять или десять минут следил её подламывающийся неверный шаг впереди, а потом стало светло.

Потом стало жарко. Так жарко, что я лёг и уткнулся лицом в снег, и весь снег из-под меня утёк, я лежал лицом в прошлогодней траве.

Потом кругом был только снег, и никого не было. По дороге домой я думал — со страхом и странным удовлетворением — что взял её болезнь на себя: щипало глаза и губы, меня сильно тошнило и клонило в сон. Но дело кончилось обыкновенным гриппом.

Её не нашли больше, но мы встретились. Я заканчивал последний курс.

Это был аптечный киоск в торговом центре, и она была там, непохожая на себя, круглая, со щеками и грудью, с прежним, огненным и проволочным, облаком волос, в бледном провизорском халате.

Я не заглянул в аптечное окошко, а открыл дверь в углу и вошёл. И она схватила меня за руку, потащила по коридору, приговаривая: что же ты, тебе сюда нельзя, зачем ты. И я бормотал, что всё понимаю и никогда не приду больше, я просто очень рад, что с ней всё в порядке, и мне нужно было только посмотреть.

Она вытащила меня в холл первого этажа и усадила на мягкий диван. И спросила: кому позвонить? Твоему врачу? Твоим родителям? Жене? У тебя есть рецепт? Где он?

А я глядел на круглую её руку из-под завёрнутого рукава, густо усеянную коричневыми веснушками, и на лицо её, где те же веснушки проступали сквозь белую пудру.

— Я в порядке, — сказал, — извините, я не больной. Извините, я вас перепутал. Вы очень красивая.

Она покраснела и заулыбалась.

— Я пойду, — сказал я.

Я помнил, где оставил её. Там был лес, и дачные посёлки, и линия электропередач.

Когда умер Сенька, я ещё не вернулся с практики. Бабушка не помнила, где его похоронили. Приходила со мной в парковую рощу и неуверенно говорила: где-то здесь.

А я готов был броситься рыть землю, достать его оттуда, обнять, прижать, и потом только понял, что найду лишь кости.

Я приходил в лес и ложился на землю щекой к прошлогодней скрученной листве.

Господи, господи, она была совсем больная, она еле шла, четыре года прошло, я найду там кости…

Я дошёл только до леса, но войти не смог: колючая проволока стояла в два моих роста.

Только обдумал способ проникнуть за неё, сквозь или поверх, как меня уже взяли. Проверили документы, усадили в машину, повезли в город, а может быть, и не в город: в какой-то момент кругом стало невыносимо светло, и я зажмурился. В отделении написали, что я на них бросился по дороге, потому что из носа шла кровь, и нужно было как-то объяснить это. Я не помню, но, видимо, так и было. Намерили какие-то промилле. Зашили дважды: на лбу и на шее сзади — выходит, мы и правда дрались. Выписали штраф. Я оплатил его, улыбаясь так, что меня едва не взяли снова.

Весь август на дачи обрушивались Персеиды.

В сентябре я подцепил на редкость злую простуду. Наверное, грипп: болели руки и ноги, мерзко тянуло недавний шрам на шее. Два или три дня проплыли в тягучем беспамятстве, полном звуков, букв, голосов, текстов, фрагментов недавно защищённого диплома, таблиц и отчётов. Потом они устали донимать меня и слились в одинаковый, огромный, цикадный хор.

— Вы кто? — спросил я. Или не спросил, а только подумал.

Они сказали: мы друзья.

Нетка

— Что за травою зарос у меня весь огород? — спрашивал Георгий Петрович позапрошлым летом, — укроп, нет? Пастернак, — говорил Андрей.

К лету следующему Георгий Петрович, конечно, забыл: встречая нагруженного сумками гостя, сказал сокрушённо: вот, снова вырос, не помню, как зовут, но Мандельштам точно не мог бы цвести такими мелкими цветочками.

Нетка на крыльце захихикала.

Нетка тоже появилась позапрошлым летом, Андрей увидел её лежащей на воде. Внизу, за огородами, был прудик, и Нетка, раскинув длинные руки и ноги, лежала на поверхности прудика в цветном купальнике, и тогда Андрей сказал издевательски громко: Офелия, о нимфа, помяни мои грехи в твоей святой молитве…

Офелия приняла в воде вертикальное положение, прочистила пальцем ухо и спросила: чё? В смысле, как провели вы эти дни, мой принц?

И тогда Андрей узнал Нетку, что было удивительно само по себе: с тех пор как Георгий Петрович приводил на кафедру пухленькую рыжую девочку, минуло несколько лет, и в сегодняшней Нетке не осталось ничего от стеснительного щекастого пупса: была она высокая, тощая — рёбра можно пересчитать, и не рыжая больше, каштановая или чёрная, кто разберёт с мокрыми волосами. И совсем не красавица: груди нет, ноги кривоваты, нос великоват, звёздчатая сыпь коричневых веснушек по лицу, по плечам и даже по бёдрам. Однако Андрей почувствовал короткий сполох жара по щекам — наверное, потому, что девочка, выходящая из воды, была вся пунцовая, и получалось необъяснимо неловко, но вот Нетка подошла ближе, и оказалось, что она просто обгорела на солнце.

Лето начиналось хорошо, так хорошо, что каждое утро Андрей был готов благословить и бывшего научрука, и его некрасивую внучку, и деревенских жителей, и всех обитателей соседних сёл. Георгий Петрович ладил навес возле бани, Нетка варила щавелевые щи и сушила на веранде земляничный лист. Андрей два раза съездил в

Боровское и один раз сходил в соседние Дубки: если в Дубках не было ничего интересного, то из Боровского он привёз стеклянную немецкую сахарницу в мельхиоровой оплётке и лейб-егерскую медаль «За храбрость» четвёртой степени. Медаль выкупил у старика Бережкова, порадовавшись небольшой цене, но другого повода для радости Бережков не дал: у него была «Слава» пятьдесят третьего года, хронограф о девятнадцати камнях, и продавать часы старик то ли отказывался, то ли набивал таким образом цену. Ведомый насмешливой судьбой, тем же вечером сосед Георгия Петровича принёс другую «Славу», секундомер, и Андрей взял, конечно, отметив идеальное состояние покупки и горестно вздыхая о редком хронографе.

Андрей гордо именовал себя антикваром-самоучкой, деревенские звали его хламовщиком — и волокли, конечно, хлам. Прошлым летом ему пытались впарить всё: от кирзовых сапог и солдатских фляг — до ржавых гвоздей и деревянных ложек. Кое-как удалось объяснить, что драгоценен не всякий хлам, а только отдельный и вполне конкретный. Лично Андрея, например, интересуют карманные часы, потому что старьё он скупает для магазина, а часы — для себя, в коллекцию.

Слова «карманные», разумеется, никто не понял, и к следующему приезду Андрея ждала целая гора ломаных наручных часов самых разных годов выпуска. Несколько штук он всё же взял, ибо подлежали реставрации и могли быть выставлены на продажу, ещё одни решил купить из сочувствия: принесшая их женщина явно нуждалась в деньгах. И не пожалел: воодушевлённая хозяйка часов тем же вечером приволокла две «Молнии» — «Волки на охоте» и «Сказ об Урале». Состояние было среднее; у тех, что с волками, отвалилась крышка-пыльник, но для обмена могли сгодиться.

Нетка, год назад совершенно равнодушная к хламу, теперь вдруг заинтересовалась. Это было приятно. Андрей обнаружил в себе нереализованный педагогический пыл и читал вдохновенные лекции о внутреннем устройстве часов и о механике вообще. Нетка зачарованно кивала, слушая про баланс и пружину, секундную стрелку и смазку, но когда Андрей по-простому объяснил, что камни в часах нужны, дабы не стирались важные винтики, лицо у неё вдруг вытянулось и стало ужасно несчастным.

— Ой, — сказала она, — всего-навсего?

— А что такого?

— Я-то думала, — Нетка смутилась, — только не смейся, ладно?

— Не буду.

— Я думала, это камни энергию вырабатывают. Ну, от которой стрелки ходят. Если рубины — то много энергии, надолго хватит, хорошие часы. А кварцевые — значит, на кварце, плохие, ерундовый камень, выкрасить и выбросить.

Андрей не сдержал обещания и начал ржать, и Нетка, разумеется, обиделась. Так и дулась бы до вечера, если бы суровая тётка на мотоцикле с коляской не приволокла зеркало.

Зеркало было совсем не нужно Андрею, зато пришло в голову кое-что интересное.

— Сразу взять не могу, — значительно сказал он, — экспертиза нужна.

Тётка милостиво приняла сто рублей залога и согласилась оставить зеркало до вечера. Андрей протёр его газетой и пристроил на полотеничный гвоздь у входа. Хорошо смотрелось: мутноватое зеркало в облупившейся тяжёлой раме висело на тёмной деревянной стене и отражало сад. Было самое время помириться с Неткой: Андрей сходил к себе на второй этаж за фотоаппаратом и заговорщицки позвал: а пойдём чего сделаем!

Фотографировать он толком не умел, возил с собой мыльницу, чтобы снимать спорный антиквариат и потом советоваться с коллегами по сети, но здесь не было ничего сложного: вот стена, вот зеркало, вот сад, а вот Нетка. Он смутно чувствовал, что именно про такие картинки иногда говорят: «хорошая композиция».

Андрей долго и старательно прятался в сирень, чтобы не отражаться в зеркале, наконец нашёл нужное положение и щёлкнул Нетку со спины: простую, вечернюю, в сползающей с плеча футболке, с небрежно собранными в узел волосами, пять или шесть раз щёлкнул, ловя отраженное лицо: юное, внимательное, веснушчатое, носатое и даже почти милое в резких тенях. Картинка должна была выйти неплохая, в самый раз вывесить в фейсбуке под заголовком «Как я провёл лето».

Потом, перебросив фотографии на ноутбук, удивлялся: Нетка была неожиданно хороша. С точёной шеей и выступающими ключицами, с тёмными глазами и трогательной чёлкой, такая молоденькая, такая лёгкая, и горбатый нос её почему-то не портил больше.

Андрей даже сходил вниз поглядеть на настоящую Нетку: она как раз нависала носом над очередной книжкой, и ничего удивительного в ней не было.

— А как тебя целиком зовут? — спросил он с лестницы. — Анна? Ан нет, она звалась Аннет? Неточка? Неточка Незванова? Поэтому?

— Я — Нетка, — ответила она, взглянув на него сурово.

— Я уже понял, — сказал Андрей.

Пока поднимался к себе обратно, Нетка едва не прожгла ему спину жарким мучительным взглядом, и Андрей спохватился: бросать всё это надо, ей восемнадцати нет…

Нетка, бедная, с того вечера стала ходить за ним печальным хвостиком, отчаянно глядя из-под надломленных бровей, кусала губы, хихикала, отвечала невпопад, крутила свои девчонские кольца на длинных пальцах, обхватывала себя за плечи, неловко кокетничала, и кончилось тем, что Андрей решил собираться домой на неделю раньше.

Георгий Петрович понял и отнёсся с большим уважением. Правильный ты всё же человек, — сказал, — я ведь опасаться начал…

— Не опасайтесь, пожалуйста. Я понимаю.

— Можно, я подарю тебе кое-что? — спросила Нетка, когда он уже собрал рюкзак и вышел посидеть с Георгием Петровичем на дорожку.

— Ну, можно, наверное.

— Это вообще-то часы, я себе купила, но они немножко кривые. Или это так задумано… Но вдруг тебе понравится?

Андрей взял из её рук серебристую луковичку, раскрыл и чуть не засмеялся вслух.

Позор китайской сувенирной промышленности, карманные часы с блестящей полированной крышкой, циферблат косо скопирован — кто бы мог подумать — с наручных Hamilton: дешёвый пластик вместо сапфирового стекла, декоративные неподвижные кнопки пуска, шкала тахометра уехала влево, да всё уехало, вон расстояние между двойкой и единицей совсем не то, что между двойкой и тройкой,

восьмёрка уплыла вообще, стрелка эпилептически вздрагивает, — Андрей, ощутивший в первые секунды неловкость, вдруг развеселился: часы выглядели настолько плохо, что были в своём роде прекрасны.

— Я что-то вспомнил Сальвадора Дали, — вежливо сказал он.

— Красивые, да? — восторженно спросила Нетка.

На станции, выкурив четыре сигареты, выпив две бутылки пива, измерив платформу шагами вдоль и поперёк несколько раз, он достал из кармана подарок, откинул крышку. Китайское чудо под стеклом судорожно тикало. В вогнутой поверхности зеркальной крышки отражался стройный и правильный циферблат хронографа: неровное зеркало отняло у циферблата все действительные неровности, сделав его совершенным, будто бы в зеркале прятался родной, драгоценный Hamilton, уверенно показывая три часа.

На самом деле было ещё без пятнадцати, но трёхчасовая электричка уже подползала к платформе. Андрей не задумываясь шагнул в пустой тамбур и прошёл в пустой вагон, выбрал место посередине, хотел было на несолнечной стороне, но солнечными были обе. Пристроил рюкзак на сиденье напротив, достал ноутбук, вытянул ноги. За окном поплыло зелёное и голубое, в окне отражались сиденья напротив и сам Андрей, точнее только его освещённая макушка. «Голова у тебя золотая» — говорил Георгий Петрович много лет назад; должно быть, и впрямь была золотой, да где теперь те годы, где благословенная аспирантура филфака, где оно всё… — яблони и черёмухи летели за окном, станция Боровское мелькнула асфальтовым отражением, зелёной табличкой, но электричка не остановилась, хотя прежде останавливалась всегда; вздрогнул и опустел на экране ноутбука индикатор сотового сигнала. Андрей достал мобильный, телефон тоже не видел сети, под мостом бежала незнакомая речка, её не было по пути сюда, вдруг подумал про Нетку — и очень остро почувствовал, что Нетка теперь совсем далеко.

Обстоятельства места

Тревожнее всего в комнате Полины было то, что над письменным столом висела фотография другого ребёнка, выцветшего мальчика в джинсовом комбинезоне и голубой шапке с помпошкой, ради удачности кадра помещённого в самую середину весенней, не оттаявшей ещё песочницы.

Комната была огромная, недетская, да и вообще нежилая: предметы мебели располагались у стен как бы в случайном порядке, и на существование здесь девочки указывала только коротенькая кровать, застеленная пушистым бежевым покрывалом. Письменный стол мог принадлежать и взрослому, во всяком случае около него стояли два взрослых стула, разлучённых с полированным чешским гарнитуром. Ни куклы, ни медвежонка, ни брошенной на кресло яркой футболки, ни книги в цветной обложке. Вряд ли Полина сама поддерживала этот ожесточённый порядок в недетской своей обители, скорее бабушка.

Тане как было дико в первый визит, так и осталось полтора года спустя: три человека живут в давно не ремонтированной квартире, комнату бóльшую занимает ребёнок, всё свободное время они тратят на то, чтобы уничтожать следы своего присутствия в помещении. Всякая вещь кладётся на место, случайно подвинутая — немедленно возвращается в прежнее положение, чашки с недопитым чаем стремительно уносятся на кухню и даже на лестничной клетке пахнет чистящим порошком.

Особенно усердствовала бабушка, она встречала Таню с намоченной тряпкой — и, не дав толком разуться, принималась вытирать под ногами. Это оказывалось как-то особенно обидно, словно вместе с уличной грязью Таня принесла на сапогах опасную заразу и не укоряют её только из вежливости. От обиды она всякий раз начинала сочинять отстранённую формулу: «к сожалению, сегодня будет наше последнее занятие с Полей, обстоятельства…» — и всякий раз к концу занятия передумывала.

Дело определённо было не в Полине, никакой особенной любви Таня к ней не испытывала. Нескладная, некрасивая и невоспитанная, она относилась к той породе детей, которая не внушает родительских

чувств (или хотя бы простейшего умиления) никому, кроме собственной родни. Вертлявая, черноглазая, с узеньким старушечьим или даже обезьяньим личиком и скошенным подбородком, с торчащими крупными зубами и вечно заложенным носом, она не имела ни малейшего шанса вырасти хотя бы капельку симпатичной девицей. Таня не жалела её за это: не всем быть красавицами, в конце концов, да и умницами не всем.

Класс коррекции, однако, Полине не грозил. Худо-бедно, но она справлялась с домашними заданиями, по математике иной раз получала неплохие отметки, но с чудовищной её безграмотностью Таня вела войну второй год подряд. Ей уже становилось неловко: что толку от репетитора, если учительница в который раз говорит бедной Полиной маме: «конечно, мы натянем ей троечку, но сами понимаете…». Эта натянутая троечка была тем обиднее, что словарь девочки казался живее и обширнее, чем у других десятилетних. Но способностей к чтению и письму — равно как и усердия к ним — ей, должно быть, не досталось от рождения.

К середине занятия Таня обыкновенно была готова взвыть. Диким зверем, очень бешеным. Полина роняла карандаш, потом ручку и линейку, лезла за ними под стол, находила там прошлогодний окаменелый ластик, возила им по паркету и пробовала на зуб, а потом возвращалась к тетради как будто вынырнувшая из воды, недоуменно глядела на недописанное слово и завершала его как в голову придёт. Потом за окном раздавался звук — любой — и нужно было срочно посмотреть, что там. Потом у неё вдруг болел палец или нос, и надо было немедленно попить и в туалет.

Уже на третьем занятии Таня к стыду своему обнаружила, что сейчас ахнет кулаком по столу и начнёт орать, потеряв всякий человеческий облик. Она взяла себя в руки и даже не повысила голос, а только вдохнула глубоко-глубоко и медленно выпустила свистящий воздух сквозь сжатые зубы.

И тогда кто-то протопотал по коридору, просунул под дверь круглую белую лапку и потянул на себя. Дверь подалась.

— Это Фредерика! — восторженно сказала Поля. — Она идёт греться под лампой.

Поля не выговаривала «р», у неё получалось «Фхедехика».

Фредерика бесшумно прошла через комнату, обнюхала Танины ноги и вспрыгнула на стол. И села, действительно, под лампой — маленькая, лёгкая, пушистая, от лампы такая золотая, что Таня не сразу поняла её настоящий черепаховый окрас. Поля тут же сдвинула все карандаши и ручки в угол стола — потому что кошка их сбрасывает, — и тут же передумала идти попить — потому что кошка тогда побежит следом, а пускай лучше сидит на столе, так интереснее.

Присутствие кошки оказалось спасительно для занятий. Пока Фредерика грелась под лампой, Поля отвлекалась, но только чтобы взглянуть на неё. И Таня отвлекалась тоже, как тут не отвлечься — кошка была удивительно хороша. Детская ещё, котёночья мордочка, рыжее пятнышко на розовом носу, разноцветная пуховая шёрстка, беленькие грудка и лапки. Глаза драгоценной, старинной зелени, не прищуренные, а только с готовностью прищуриться, которая Таню особенно очаровывала.

Кошки не любят, когда на них смотрят в упор, но Фредерика оставалась безразлична к прямым взглядам и равнодушна к Таниным попыткам погладить её — не тянулась за рукой и не мурчала, как будто вежливо терпела прикосновения — и Таня вскоре отказалась от этих попыток, оставив себе только любование. Она всё жалела, что Фредерика приходит под лампу не каждый раз, а без неё занятия остаются сущим мучением.

Не из-за кошки же я к ним хожу, — думала она, вспоминая и улыбаясь. Таня не много брала за занятия, недостатка в учениках у неё не было, что бы не выбрать тех, кто способнее или живёт ближе… Но она всё возилась с невыносимой Полей.

Не только из-за кошки, конечно.

Если бы чувству, которое Таня в себе обнаружила, было название, оно оказалось бы сродни любопытству. Болезненному любопытству даже не свидетеля катастрофы — он-то в своём наблюдении не волен — а человека, намеренно смотрящего страшную видеозапись. Поля, и Полина мама, и бабушка, и странный их дом интересовали Таню так же, как подростка интересуют заброшенные строения, фотографии мертвецов, мутанты и радиация. В неуютных этих стенах с выцветшими обоями, за тёмными стёклами полированных шкафов, в

горах упорядоченного и отчищенного хлама жила тайна — скорее постыдная, чем прекрасная, творилась невидимая маленькая история, и Таня хотела знать, чем всё кончится.

Когда с первого занятия минуло почти два года, Поля наконец получила четвёрку по русскому. И то, что годовая всё равно вышла тройка, не омрачило радости. Отметку праздновали чаем и вафельным тортом, занятия никакого не получилось: Полю ожидала дача, и мыслями она была уже там, поминая то речку, то старших мальчишек с мопедом, то соседских цыплят. Такой простой был чай и такой неудивительный торт, такое солнце за окнами, что Таня, покосившись на фотографию над столом, впервые подумала: а вдруг это Поля сама её повесила. Вдруг это детский её товарищ или какой-нибудь мальчик с дачи. И сразу поняла: конечно нет, Поле не разрешили бы. Фотография — это слишком явный знак человеческого присутствия, а мама с бабушкой так боятся его, что дай им волю — сами себя вычистили бы из дома с порошком и вытерли бы следом сухой тряпочкой.

Фредерика пришла проверить, что это без неё едят, разочаровалась и разлеглась под солнцем на подоконнике.

— А когда я была маленькая, — сказала Поля, вгрызаясь в торт, — она была ростом с меня, если встанет на задние лапки. И мы танцевали вальс.

— Да ты что? — изумилась Таня, уверенная, что Фредерика появилась здесь незадолго до её собственного появления. — Сколько же ей лет?

— Не помню. Бабушка говорила, но я забыла. Когда я родилась, она уже была.

Стоя в коридоре, попрощались до сентября. Таня отчего-то впервые заметила, что у Поли красивая мама: те же черты, что придавали девочке сходство со старой обезьянкой, во взрослом лице складывались удивительно гармонично. И обрадовалась: всё-таки вполне вероятно, что Поля вырастет если не красавицей, то хотя бы миленькой.

А потом забыла о них на всё лето, вообще обо всём на свете блаженно забыла, выпустив свой девятый «А» и с головой провалившись в отпуск. Вспомнила только под самый конец августа, когда принялась обзванивать родителей учеников, чтобы составить план занятий на осень. День стоял пасмурный, за окнами все ходили в куртках — с

утра было всего одиннадцать градусов, с неба то и дело просыпáлось немножко мелкого дождя.

— Фредерика, — сказала Таня шёпотом, щурясь в серое стекло. Сразу потеплело.

Полина мама встретила её в дверях одетая, попрощалась и ушла по своим делам. У неё было измученное осунувшееся лицо и круглый живот, совсем незаметный в мае. Таня обрадовалась за Полю, у которой вскоре должен был появиться товарищ в этом печальном царстве постоянно убирающихся взрослых.

Но радость оказалось кратковременна: с первого же взгляда стало ясно, что летом с Полей произошло нечто нехорошее.

Необъяснимо стыдясь, Таня вновь почуяла в себе щекотный азарт любопытного подростка. Тайная история, слабо тлевшая в этих стенах, вдруг ожила, загорелась и раскрутилась, нечто сдвинуло её с мёртвой точки, сдвинуло — и всей своей нечеловеческой силой задело Полю: за три месяца она стала словно бы худее и меньше ростом, сквозь летний загар прорезалась глухая болезненная желтизна, в движениях появилась несвойственная ей прежде медлительность, даже неуверенность.

Это страшное нечто Таня, ни секунды не сомневаясь, определила как смертельную болезнь — или печаль, но тоже смертельную.

Для занятий медлительность девочки была скорее хороша, но Таня, привыкшая к прежней непоседливой Поле, каждый урок проводила в состоянии очарованного испуга, вглядываясь в знакомое и чужое одновременно детское личико, с которого постепенно — истаивая от встречи к встрече — пропадали слабые следы улыбок и слёз, исчезали едва намеченные контурные карты будущих морщинок; на котором однажды вдруг появились очки в жёлтой пластмассовой оправе — детские, девические, модные, моментальным контрастом выявившие врождённую старость её лица. Таня то и дело порывалась спросить у взрослых, что случилось с Полей, но останавливала себя: будь то болезнь или нехорошее происшествие — ей знать не положено.

— Белое, — сказала однажды Поля, не поднимая головы от тетрадки. — Пьют с кофе, ну?

— Сахар? — спросила Таня.

— Фредерика тоже пьёт.

— Молоко?

— Молоко, — ровным голосом повторила Поля. — Да. Забыла.

Всё-таки болезнь, — подумала Таня и даже не опечалилась. Сама себе удивлялась и ругала себя, но происходящее с девочкой было словно бы частью естественного хода вещей, частью той истории, в которой Тане доставалась роль заворожённого наблюдателя и не более.

Последнее занятие было в конце октября, то есть его не было; Таня позвонила в дверь, а бабушка открыла с мокрыми глазами, и сердце противно запнулось: вот сейчас она скажет: Поля…

Но бабушка вздохнула тяжело и мучительно, будто всем телом, и пожаловалась: Фредерика ушла.

Таня так и ахнула.

— Я, наверное, мусор выносила, не закрыла дверь. Четвёртый день ищем. Завтра сантехники мне обещали открыть подвал, там посмотрю… Нет её там, конечно. Ушла.

— Как же так… — сказала Таня.

— Она уже уходила один раз. Давно. Тогда вернулась. А теперь…

Таня оглянулась вокруг — на полутёмный коридор, на чистое, без малейшего пятнышка, старое зеркало, на белую дверь, ведущую в кухню, и с подступающими слезами ощутила, что дом этот без Фредерики не содержит никакой притягательной загадки: он ужасен, он чудовищен, в нём всё старое, всё негодное и всё стерильное, в нём живут две психически нездоровых женщины, одержимых уборкой, и девочка, у которой нет игрушек и детских книжек и которая, наверное, скоро умрёт. Хотела было отговориться, уйти, просто уйти и никогда не вернуться больше, но Полина бабушка поглядела на неё умоляюще и сказала: хотите чаю? Давайте попьём чаю. Поля сейчас всё равно…

— Да, — сказала Таня. Всё равно… Значит, чаю.

Почти пятнадцать лет назад Полина мама нашла Фредерику под жасминовым кустом, в который свалилась, возвращаясь со школьного выпускного на непривычных каблуках и после непривычного шампанского. Кошка не бросилась бежать, а уставилась на девочку с любопытством — и та не нашла ничего лучше как сгрести её в охапку и

притащить домой. Это был первый решительный поступок в её взрослой жизни: котёнка она безнадёжно выпрашивала сколько себя помнила. Мама — то есть Полина бабушка — повздыхала над моральным и физическим падением дочери, отмыла обеих с шампунем, и стали они жить-поживать втроём. Фредерикой кошку назвали в честь героини мексиканского сериала, избавив таким образом от скучной необходимости быть Муськой или Баськой. Кошка была взрослая, в роскошном её трёхцветном хвосте виднелась седая шерсть.

Полина мама тем временем совершила второй решительный поступок: забеременела от однокурсника. Семьи не вышло, но мальчик получился — загляденье: кудрявый, ясноглазый, бойкий. К двум годам он вдохновенно лепетал на птичье-человечьем суржике, носился как заведённый и разбирал на мелкие детальки всё что только возможно, а к трём вдруг начал забывать слова и движения, будто бы стал расти в обратную сторону, внутрь себя. Врачи сказали, что его организм не умеет усваивать какие-то важные элементы и починить такую поломку нельзя, это дурная наследственность, семейное проклятие, если хотите…

Полина мама сидела в обнимку с Фредерикой и ревела целыми днями.

Полина бабушка призналась, что семейное проклятие существует: прадедушка с прабабушкой были двоюродные, думали обойдётся, а вот не обошлось.

А потом Фредерика ушла.

И Полина мама ушла тоже: надела красивое платье, нарисовала себе красивые глаза поверх зарёванных и хлопнула дверью. Вернулась неделю спустя, и ещё два месяца ходила за угасающим мальчиком, и вела под локоть рыдающую в голос бабушку с его похорон, и дома, усадив её на кухне и накапав в рюмочку корвалола, призналась, что внутри у неё Поля.

Фредерика вернулась за месяц до Полиного рождения: бабушка пришла из магазина — а она сидит на коврике у двери, умывает мордочку. Подхватила её скорее, забрала в дом, а там при свете разглядела и подумала: господи, это же другая кошка! У нашей был хвост седой, а у этой нет. Эта вообще почти котёнок. Потом присмотрелась — у нашей пятнышко рыжее было на носу, и у этой есть. Зубик

был справа сколотый, и у этой тоже. И пальчики на задней лапке цветные: на других лапках все розовые, а тут два чёрных. А Полина мама как увидела — вцепилась в неё и едва ли не месяц, до самых родов, протаскала на руках, спала с нею в обнимку и всё плакала, плакала, но уже не от горя, и не от радости, а просто так, потому что старая жизнь кончалась, и нужно было выплакать её остатки прежде чем начнётся новая.

И действительно началась новая жизнь, и до недавнего времени казалось, что с Полей всё идёт хорошо, а этой весной маме стало чудиться, что Фредерика всё время глядит на неё сочувственно, будто бы жалеет. Поля ещё была разрушительной непоседой, ещё неощутимо было прикосновение семейного проклятия, а мама уже знала, что и в этот раз не обошлось ничего.

Таня ушла домой — и не скоро, но что-то спасительно переключилось в её голове: о Поле она совсем больше не думала, и о бедной её маме, и о бабушке. С тех самых пор как занималась с другой, непохожей, смышлёной и здоровой девочкой, и вдруг поняла, что мучительно хочет увидеть Полю, какая она сейчас. Какой там страшный почти уже никто в обыкновенном теле десятилетнего ребёнка. И тогда признала, что сама себя пугает этим любопытством к смертельному повреждению, что не хочет знать себя такой, сделала усилие — и не вспоминала больше.

Зато каждая кошка — и уличная, и прикормленная в магазине, и у кого-нибудь в гостях — напоминала о Фредерике, которая теперь существовала в памяти как бы отдельно от несчастной семьи. Прежде Таня выходила на улицу после занятий, унося в глазах сидящую под лампой Фредерику, своё несостоявшееся прикосновение к её золотому пуху, и сердце у неё тихонько светилось, и теперь, стоило замедлить шаг и прислушаться, чувствовался внутри опустелый печальный след этого свечения.

Полина бабушка позвонила однажды в конце августа, и Таня не сразу её вспомнила. Точнее не соотнесла голос в трубке — бодрый, привычно деловитый — с тем, какой растерянной запомнила её в последний раз.

— Такое дело, Танюша, — с ходу начала бабушка, — Поля пропустила в школе год, разленилась невероятно, а сентябрь на носу, и вот мы боимся… Не нашли бы вы для нас время?

— Поля жива, — чуть не сказала Таня вслух, не успев ощутить ни облегчения, ни радости, только одно огромное удивление.

Всё в этом доме стало иначе: уже за дверью, на лестничной клетке, начинался незнакомый прежде запах жилья. В коридоре, оклеенном новыми обоями, не было больше старинного трюмо, а висело зеркало в хитроумной раме, и на полу стоял большой пластмассовый самосвал с красным кузовом. Выбежали — поглядеть, кто пришёл — вихрастый малыш, совсем не похожий на сестру, и весёлый серый котик.

Поля жила теперь в маленькой комнате вместе с бабушкой. Она подросла, у неё округлилось лицо и стала совсем девическая фигурка; она проколола уши и носила смешные жёлтые серёжки-смайлики. Заниматься пришлось на кухне, потому что все прочие пространства оказались заняты мамой, братиком, бабушкой и телевизором, но это получилось даже неплохо, с чаем и печеньем дело шло куда веселей.

Всё было хорошо. Таня постоянно оглядывалась кругом, запоминая приметы спасённого дома: дома, где должно было стать очень плохо, но почему-то вышло иначе.

Только Фредерики не было.

— Я её увезла, — призналась Полина бабушка, выйдя однажды провожать Таню. Наверное потому призналась, что продолжала чувствовать связь со свидетельницей минувшего несчастья и считала необходимым объясниться. — Она вернулась, а я её увезла. Всё точно как в тот раз: прихожу из магазина, а она сидит на коврике. И у меня прямо сердце к ней рванулось.

И тут я поняла — только не смейтесь, Танюша, — что она была послана нам в утешение. Горя нам досталось много, без неё мы не справились бы. Я бы — так точно умом тронулась. А человеку ведь не даётся того, чего он перенести не может. И я подумала: если она жалеть нас не станет — может, и горя лишнего не будет. Взяла её в сумку и повезла к сестре моей в Луховицы. Она меня старше, ноги еле ходят, глаза видят плохо, мужа похоронила в том году, тяжко ей. Привезла, высадила из сумки, говорю: теперь здесь живи, утешай, а мы сами справимся. И своим не сказала, что она возвращалась.

Такие вот дела, Танюша. Придумали для Поли лекарство, оказывается. Пока пьёт — всё с ней в порядке. Она другого котика выпросила у матери. Андрюша вот родился.

А я всё её вспоминаю, знаете, особенно ночью, как она иногда под бок уляжется…

Таня, Таня, как же я её любила…

Ничего не происходило больше в этом доме, кроме обыкновенной жизни, и обыкновенность вдруг стала отзываться в Тане смутным чувством опасности. Когда поблизости не творилось ничего такого особенного — из тех вещей, что обычно бывают с другими — это особенное могло случиться с самой Таней, и было бы хорошо избежать его.

И наконец, вскоре после осенних каникул, она сказала бабушке придуманное давным-давно: к сожалению, сегодня будет наше последнее занятие с Полей. Понимаете, обстоятельства…

Молли Миллиган

Молли терпеть меня не могла, потому что я носил очки.

И ещё потому, что однажды спросил: отчего — Молли?

Она ткнула в меня длинным острым пальцем, намереваясь попасть в солнечное сплетение, но не попала, и вместо боли её жест причинил только неприятную щекотку.

— Запомни, — сказала она, — запомни и усвой.

Оказалось, что Молли Миллиган — не имя, а обидное прозвище.

Сейчас, годы спустя, я понимаю, что в юности вокруг меня было невероятное количество сумасшедших. Не таких, как показывают в кино, а настоящих, повреждённых духом или рассудком без спецэффектов.

К примеру, Сандро, который меня со всеми познакомил. Он жил в Последнем переулке (не московском, на Сухаревской, а местном, довольно унылом) и занимался неизвестно чем. Обычно Сандро сидел, ссутулившись и выставив костлявые коленки, на барном стуле посередине собственной кухни, в которой этот стул казался странно чужеродным, курил «Яву» и тушил окурки в стеклянной банке с водой. В разговоры если вступал, то отвлечённо щурясь мимо собеседников, сообщая банальности в духе кота Леопольда: не надо ссориться, надо жить дружно и всё такое. У него было вытянутое и смуглое неровное лицо, покрытое то ли оспинами, то ли следами мелких ожогов, горбатый, слегка перекошенный нос и длинные жёсткие волосы. Если бы Сандро отмыть и замазать оспины гримом, из него мог получиться отличный кинематографический индеец. Повадки у него были самые что ни на есть индейские: мягкий шаг и кошачий слух. И навязчивая привычка раскладывать на поверхностях мелкие предметы, вот хотя бы спичечные коробки и сигаретные пачки: сначала положить два коробка рядом и выровнять относительно друг друга и окружающего пространства, а потом левый предмет сдвинуть немного вниз. Из любопытства к его обсессии я как-то спросил, зачем. Сандро задумался и сказал: ну, видишь, вот этот вот этого как будто это, прикрывает. Цена его возвышенного благодушного пацифизма, выходит, была велика.

Впервые я оказался на его кухне случайно: Сандро был призван спасти меня от печальной участи дворника. Матушка моя полагала,

что именно такую участь обещает хронический тройбан по инглишу, поэтому озаботилась поиском репетитора. И когда у какой-то тётки какой-то матушкиной коллеги вдруг оказался знакомый переводчик, к тому же кандидат филологических наук, к тому же берущий за занятия недостоверно смешные копейки, я оказался немедленно определён к нему в обучение. Если бы родительница, как собиралась, отправилась на первое занятие вместе со мной, а я не воспротивился, то первое занятие стало бы последним: квартира Сандро — место не для слабонервных.

Впоследствии у него я прогуливал школу, распробовав запретное блаженство ничегонеделанья и умиротворяющую безнаказанность бардака. Мы садились на кухне — хозяин на свой нелепый стул, я в продавленное кресло между плитой и окном — предварительно заварив чаю и разложив на столе всякие съедобные ништяки, и до часу дня разводили густые клубы дыма под необязательные разговоры. Я оставлял форменный пиджак и футболку в коридоре, переодеваясь в клетчатую рубашку Сандро, заляпанную спереди голубой краской, чтобы матушка потом не учуяла запах. От рубашки пахло жилым домом, табаком и стиральной машинкой.

А потом Молли, бездельница, стала приходить раньше меня и занимать моё кресло. Это во-первых. Во-вторых, она тараторила без умолку, сводя всё умиротворение на нет. В-третьих, она мне просто не нравилась.

То есть, вот как было дело: сначала-то я к ней очень даже проникся. Молли была из тех некрасивых людей, которые притягивают взгляд. Маленького роста, круглая, похожая на растолстевшую неряшливую Бьорк. С тонкими при этом запястьями и длиннющими пальцами. С умным и нервным лицом, выдающимися скулами, чуть раскосыми глазами и отяжелевшим подбородком. С голосом высоким, резким и как будто растрескавшимся, лишённым интонаций: длинные её монологи тянулись на одной раздражающей ноте.

Но это ладно бы. Молли ни секунды не могла жить без человеческого внимания, интересничала и до постыдного топорно симулировала множественное расстройство личности, за что и была прозвана по аналогии с Билли Миллиганом.

И даже это ладно. Личность паспортная, девица Миронова Диана Фёдоровна, считалась не основной — и чёрт бы с ней: паспортные личности вообще не очень интересные создания. Основой личностью был невнятный хрен по имени Альдо, извиняюсь за выражение, космодесантник. Пласт культуры, в котором космодесантники полагались объектом восхищения, подражания и версификации, меня обошёл: я не успел полюбить космической фантастики в детстве. Галактики, хренактики, разумные корабли, телепатическая связь, погибшие друзья, цивилизация суперкомпьютеров — вся эта восторженная дурь летела из уст Молли сплошным незатыкаемым потоком, перемежаясь восклицаниями, жестами и попытками (космодесантник ведь, мужчины не плачут) изобразить скрываемые рыдания. Наверное, по погибшим друзьям; я особенно не вслушивался.

Там был какой-то ещё один, и ещё один. Типа техасского рейнджера, тоже со скупыми рыданиями. Все очень крутые и очень с биографией.

К моменту знакомства с ней я слишком долго уже — по моим подростковым меркам, конечно — общался с Сандро. И сам не заметил, как это общение мягко и аккуратно перевернуло меня, недоверчивого и циничного.

Почему бы нет, — лениво думал я, то есть даже не думал, а просто ощущал как фон, — всякое бывает, а ещё большее возможно, и если странноватая некрасивая девица говорит, что она космодесантник, то было бы поспешно оскорблять её неверием. Куда проще принять это как данность, которая не имеет ко мне никакого отношения, поэтому ничем для меня не важна, ничуть не ценна и ни в чём не опасна. Давайте, в конце концов, жить дружно.

С данностью, однако, получилось плохо.

Точнее, плохо было с артистическим талантом Молли, который не просто отсутствовал, а представлял собою отрицательную величину. Сторонний наблюдатель, даже будучи максимально заинтересован в общении, не мог бы отличить космодесантника от рейнджера, а рейнджера от секретного агента по поведению и интонациям. Все они вообще-то вели себя как девица Миронова Диана Фёдоровна, а это создавало коммуникативные напряги.

И Молли нашла выход, то есть, способ обозначать личность, присутствующую в теле. Например, серебряное кольцо в правом ухе обозначало, что здесь космодесантник Альдо. Кельтский узорный гвоздик в левом маркировал присутствие секретного агента. Молли как-то обмолвилась, что личностей у неё четырнадцать. Если у меня и был интерес к её символическим серёжкам, то я его в этот момент потерял.

Да и вообще со мной это не работало. Зрение минус семь — в целом большое ограничение, а если я стоял в дверях кухни, когда она сидела в моём кресле, то не было никакой возможности определить по серьгам сегодняшнего посетителя этого нелепого тела. Поэтому я говорил: привет, Молли.

Она останавливала монолог и немедленно взрывалась, объясняя, что всё вот это с серёжками придумано специально для таких как я.

— А если у меня руки в боки, — говорил я, предусмотрительно не приближаясь, — то плевать, на каком боку у тебя сегодня тюбетейка.

Дралась она совсем не как космодесантник, но кружками швырялась знатно.

Иногда я даже не успевал сказать «привет, Молли».

В общем, я у неё вызывал приятельскую ненависть, а она у меня — приятельское же раздражение. А потом мы взяли и всё испортили. Точнее, испортил я, а выгнали в итоге Молли.

После зимних каникул к английскому языку — мы с Сандро продолжали заниматься — прибавились спецкурсы по русскому и литературе при местном филфаке. Скучные, как чёрт знает что. Я быстро понял, что вопрос с финансами на ближайшие четыре месяца решён: матери можно не говорить, что я прогуливаю курсы, а деньги оставить себе.

Там была Женька, мы толком даже ни разу не поговорили, но каким-то образом очень хорошо относились друг к другу. Переглядывались, может. Я подошёл и предложил разделить прелести прогуливания со мной, она согласилась. Я привёл её к Сандро.

Молли она не понравилась с первого взгляда, это было сразу заметно. Хотя я не понимаю, как бравому космодесантнику, а тем более техасскому рейнджеру может не понравится рыжая и красивая семнадцатилетняя девочка.

Женька же, напротив, была совершенно очарована: и бардаком, и бездельем, и разрешением курить на кухне, и Сандро, и Молли. После её подробнейших расспросов и готовности слушать что угодно с открытым ртом сердце космодесантника слегка смягчилось.

Мы неплохо жили весь февраль и весь март.

Молли сломала ногу и теперь перегораживала проход к холодильнику костылями.

Сандро научил Женьку готовить рогатый суп — это когда первая порция макарон-рожек разваривается до состояния первозданного бульона, а вторая в этом бульоне варится до готовности. И смешивать кетчуп с майонезом: она, приличная девочка, сама как-то не догадывалась, что это может быть вкусно.

Заваливался классный чувак Кир, ножевик. На деньги, припрятанные с курсов, я заказал у него отличнейший клинок.

Я стал подумывать, что мы с Женькой могли бы остаться у Сандро на ночь. У него всё время кто-нибудь ночевал.

Не учёл одного: это для меня Сандро был благодушным странноватым котом Леопольдом, коротающим жизнь на дурацкой барной табуретке в окружении книг и замысловатых штуковин. Женька видела его лучше. Для неё он оказался именно тем, кем был: умным, спокойным, к тому же воевавшим мужиком почти сорока лет.

И пропала Женька. Я даже видел, как она пропала, мельком: её волосы, и плечи, и грудь, и маленькие чёрные трусики, а потом быстро захлопнул дверь, которую случайно открыл, и прошёл на кухню. Сел там в своё кресло, благо Молли ещё не припёрлась. Закурил. Сохранил, так сказать, лицо.

Зато у Молли, явившейся чуть позже, наглухо сорвало резьбу, хотя происходившее в соседней комнате давно завершилось, и мы втроём мирно пили чай. У женщин есть специальная чуйка на такие дела. Она как-то заметалась, засуетилась, покрылась пятнами, потом вспомнила, что ей куда-то надо бежать, и потребовала, чтобы я проводил её, потому что гололёд, и она со своей палкой обязательно навернётся и сломает вторую ногу.

Мы вышли, и ветер бы такой ледяной, что горело лицо.

— Ты слепой, что ли? — спросила Молли.

Я ответил, что совершенно не слепой.

— И что ты собираешься делать?

Я пожал плечами, потому что не знал. Сурово сказал, что, наверное, вешаться, потому что необходимость тащиться с Молли по улице меня напрягала.

Но мы отчего-то пошли с ней гулять. Свернули в новый квартал, прошли его насквозь и вышли в лес, к незамерзающему пруду, летом загаженному отдыхающими, а пока вполне приличному на вид. Молли пыталась оказывать мне моральную поддержку — «поверь, брат, я знаю этих баб, сам сколько раз…», а потом разревелась.

Потом мы стояли на берегу и обсуждали способы самоубийства. По версии Молли круче всего было бы набить рюкзак всяким тяжёлым хламом, надеть на спину, связать лямки на груди и войти в воду. Я почему-то очень впечатлился.

Через пару дней у них с Сандро случился какой-то мерзкий скандал, и он её выгнал.

Через пару месяцев я настолько обнаглел, что попёрся за четыреста километров в Москву и поступил там с первого раза.

А осенью началась вообще другая жизнь.

С Молли мы встретились в пригородном автобусе, когда минула, наверное, уже тысяча разных жизней. Во всяком случае, моему сыну к тому моменту было двенадцать лет.

Я узнал её и обрадовался. Сам не представлял, что так обрадуюсь. Мы всё-таки очень круто жили тогда. Приятно вспомнить.

Молли всё время что-нибудь такое выкидывала: теперь, судя по внешнему виду, она ударилась в религию. Обвешалась, то есть, длинными тряпками чёрного и серого цвета. Тряпки ей очень не шли, хотя нет, вообще-то как раз шли, но вызывали совсем не то впечатление, на которое Молли надеялась. О скромности, сдержанности и аскезе они не напоминали ни разу, будто сговорившись придать своей нерасчётливой хозяйке опасный цыганский шарм. Во всяком случае, взглянув на неё, я бы запросто поверил, что под этим тряпьём у Молли дюжина ножей на перевязи.

Мы ехали и болтали легко и весело, пока не свернули на грунтовку и автобус не сломался. Водила бегал снаружи и кому-то звонил, Молли рассказывала, как чувака по имени Григорий хиротонисали, а я отвечал, что не знаю такого слова, но судя по фонетике, с ним сделали что-то очень нехорошее, возможно, даже постыдное, и мы смеялись.

— Из города, — сказал водила, — едет другой автобус нас спасать, часа через полтора будет.

— Я, — сказала Молли, — пойду пешком. Тебе куда?

— Мне, — сказал я, — до конца.

А она ехала в церковь, которая вон там, за этим полем, которое на самом деле мороженое болото, и ещё вот за этим лесом, и если пойти прямо сейчас — то она будет на месте раньше, чем приедет новый автобус.

— Заблудишься, — предупредил я.

Молли знала короткую дорогу.

— Промокнешь, простудишься и умрёшь, — намекнул я.

Она отмахнулась, демонстрируя толщину пуховика и крепость обуви.

— Провалишься под лёд, дура, — рявкнул я.

Молли бесстрашно шагнула вниз и несколько раз крепко топнула по снежно-болотной каше. Сдвинула платок на затылок, обломила метёлку сухой травы, обкусила и продела в ухо, в пустую дырку от серьги. Рада, сказала, была встретиться.

И пошла, огибая острова спящего ивняка и жёлтого на снегу сухостоя, а я смотрел ей в спину, и мне почему-то остро, болезненно и блаженно нравилось на неё смотреть.

Люба, живая и мёртвая

Плакать больше не хотелось, было уже просто удивительно. И смешно. И как-то ещё… Необыкновенно, но вместо этого «необыкновенно» надо было подставить другое слово.

Галя помнила Бориса Васильевича ещё не таким старым и не совсем лысым. Раз в неделю, пока Галя с мамой ещё жили на Комсомольской, совершался непонятный ритуал. Раз в неделю Борис Васильевич звонил в дверь, мама отворяла ему, здоровалась, но он не проходил в дом. Мама шла в комнату девочек, выдвигала ящик Любиного стола, выдёргивала пару листов из разворота тетрадки и вручала Борису Васильевичу через порог. Он медленно и аккуратно укладывал листы в чистый полиэтиленовый пакет, убирал в коричневый офицерский планшет, благодарил, прощался и уходил вниз по лестнице. Галя не раз наблюдала этот ритуал с близкого расстояния — и, конечно, не раз лазила в Любин стол. Мама повыдергала все чистые листы из Любиных тетрадок, только чистые, исписанных не трогала. Что ли, Борис Васильевич такой бедный, не может тетрадку себе купить? Может, мы ему купим, а, мам? Но мама говорила, что не нужно.

На двадцать третье февраля Галя всё же подарила ему тетрадку. Сорок восемь листов. В голубой обложке и с полями. Борис Васильевич очень растрогался, поцеловал Галю в макушку, но приходить не перестал. Запасливый был, наверное. Тетрадка ведь быстро кончается. Может, он писатель?

Однажды Галя застала Бориса Васильевича и маму на кухне за чаем. Он почему-то звал маму «ты», это было непонятно и даже слегка обидно.

«Знаешь, есть такое слово, — говорил он маме: если к нему прибавить «не», то смысл не поменяется. Например, «долго» и «недолго» — это антонимы, а тут получится…».

Галя задумалась, но догадаться не смогла.

Оказалось, «истово» и «неистово». Когда мы говорим «истово молился», то есть по всем правилам, подразумеваем, что молился неистово, отчаянно, самозабвенно, как и положено молиться.

— Борис Васильевич — учитель? — спросила Галя, когда он ушёл. — Или всё-таки писатель?

— Борис Васильевич — Колин дедушка, — ответила мама.

И Галя вспомнила, как мама стояла у стены, вжавшись в неё лопатками, затылком, раскрытыми ладонями раскинутых рук, как будто закрывая собой эту стену от невидимого врага, глаза у неё были зажмурены, губы шевелились, это и называлось «истово молиться», или «неистово». За стеной лежала Люба, живая и мёртвая одновременно. Люба Шредингера — подумала однажды взрослая Галя и тут же ругательски выругала себя. А Галя-маленькая смотрела на маму и думала: какая же она красивая. И представляла, что сейчас мама оттолкнётся от стены — лопатками, затылком, ладонями — и полетит. А в конце коридора вдруг показался Коля со своей мамой, тоже очень красивой, но хуже Галиной, — и та вдруг развернулась, схватила Колю за локоть и поволокла обратно, он даже вскрикнул, наверное больно было, она его прямо как куклу поволокла. Эта мама точно была хуже.

Гале строго-настрого наказали не подходить к Коле, если вдруг увидит его на улице, и не говорить с ним. Потому что Коля теперь думал, что Люба, а значит и Галя, и их мама уехали далеко и навсегда. А где-то через месяц начал приходить Борис Васильевич.

Коля ждал письма, он заставлял маму и дедушку проверять почтовый ящик два раза в день, потом раз в день, потом только иногда напоминал, а потом ложился лицом к стене и лежал до вечера. Пройдёт, сказала мама. Дед сомневался и оказался прав. Коля всегда знал, где свет. Он давно не различал света, но безошибочно поворачивался лицом в его сторону, как комнатный цветок. И вот теперь, когда Люба уехала навсегда и не стала писать писем, Коля входил в комнату — и отворачивался от окна, и молчал, и не плакал. Наверное, у него внутри было ещё темнее, чем в глазах.

У Коли с мамой была игра, называлась «давай повспоминаем». Вспоминали гальку на пляже, липкую липу, ветер с речки, чернику. А теперь Коля вспоминал Любу — пальцы, две торчащие костяшки на запястье, круглая выпуклая родинка выше, потом бинт, потом рукав, потом подбородок, где ещё одна родинка, губы, иногда трубочка под носом, нос, глаза, чёлка. И Колина мама плакала тогда по Любе как по

своей собственной девочке. А потом сама написала Коле письмо от Любы — и Коля сразу понял, что оно фальшивое.

Она не хотела ничего плохого, просто фантазии придумать такое письмо у неё хватило, а написать не получилось. «Хорошо ли ты учишься?» — спрашивала Колю фальшивая Люба, — «Ходишь ли на сольфеджио?» — «Слушаешься ли маму?». Это Люба-то, которая подбила Колю ночью вылезти с первоэтажного больничного балкона за вишней. С которой они ходили во взрослую вонючую курилку, чтобы поесть там украденного Любой немытого винограда.

Коля потребовал письмо, подержал его, поскрёб пальцем, понюхал, сказал маме: оно всё от твоих рук сигаретное! — и покраснел, нахмурился, подбирая слова пообиднее — и наконец выкрикнул: пошла ты со своим сольфеджио!

И всё стало ещё хуже.

Вот тогда-то Борис Васильевич и пришёл к Галиной маме, и попросил листок из Любиной тетрадки, пахнущей девочкой и еле различимо больницей.

Люба давным-давно отболела, померкла, стала чем-то вроде детского перелома, который не ноет даже на перемену погоды, но тут уже взрослая Галя наконец-то выплакала своё.

«…зато по биологии у меня пять. Как ты думаешь, из папоротника можно вырастить дерево? Если не знаешь, что такое папоротник, спроси у дедушки»

«…и тогда в Германии нашли скелет археоптерикса, так что птицы точно происходят от динозавров. Я только не пойму, куда у них подевались зубы. С зубами ведь намного удобнее, это закон эволюции»

«Я написала тебе кое-что, прочитай сам. Обязательно напиши мне, если я ошиблась. Я люблю учить разные языки. Например, эсперанто…» — Гале на колени выпала полоска картона с игольными наколами. Борис Васильевич сказал, что там написано: «Привет. Я Люба», и ещё сказал, что Коля после этого письма очень хорошо подтянулся по русскому, чтобы не было стыдно перед Любой, потому что она ведь скоро сможет читать его собственные письма Брайлем.

«Если однажды ты почувствуешь, что тебя как будто потрогали очень лёгким пальцем, стой осторожно. И не тянись туда рукой. А если потянешься, то тоже только пальцем, и тоже очень осторожно. И не хватай, а только потрогай, тогда оно сразу исчезнет. Это — бабочка», — и вот тут Галя побежала в ванную. Так и остались вместе: плач, который она загоняла в себя обратно над открытым краном, и недоумение — не Любу же оплакивала она, все слёзы по Любе давным-давно впитались в пуховую подушку, в надкроватный ковёр, в пижамный рукав, давным-давно уже нет ни той подушки, ни ковра, ни пижамы. Не Бориса Васильевича же, хотя жалко было так, что разрывалось сердце: и его дрожащего подбородка, и сморщенных длинных пальцев с круглыми ногтями, и того, что ему, старенькому, осталось всего ничего, а он — вот такой. Гале казалось тогда, что её саму вдруг потрогали очень лёгким невидимым пальцем.

— И вы до сих пор?.. — спросила Галя, выйдя из ванной.

— Да что вы, — сказал Борис Васильевич.

Когда Коле было одиннадцать, Бориса Васильевича подловил первый инфаркт. Надо было срочно что-то делать с Любой.

«Представляешь себе, мы поедем жить в очень секретный гарнизон! У нас ведь мама врач, и она не просто врач, а военный. Только я боюсь, что оттуда нельзя писать писем. Коля, обещаю: когда будет весна, я отправлю тебе письмо в бутылке. Я уже смотрела по карте, там есть большая река (к сожалению, из-за секретности не могу написать тебе, как она называется)».

— Если вы вдруг увидите Колю, случайно… — начал Борис Васильевич, когда Галя обувалась в прихожей.

— Я ничего не скажу, — обещала Галя и полезла в сумку. Там не было ничего интересного, даже никакой шоколадки, потому что они с Борисом Васильевичем встретились случайно, некогда было думать о подарках. Зато была тетрадка в голубой обложке, купленная для собственной Галиной маленькой девочки, пяти с половиной лет. И Галина девочка могла подождать до завтра.

Нагорная

Однажды Ангелина проколола язык и умолкла на две недели. Мы с Настей ходили тихие и потерянные.

Как она не понимала, что с нами нельзя так? Молчание — смертная мука и казнь; я без всякого напоминания отдраила кафель и раковину в кухонном закутке, а Настя разморозила холодильник и принесла почти новую скатерть на стол. Мы стали подметать полы и разуваться в прихожей, поливать цветы едва ли не по часам, вымыли маленькое окно и половину большого, но всё равно чувствовали себя чужими, злыми девочками, словно были виноваты и пока не заслужили прощения.

Это длилось и длилось: две недели тянулись неуютной вечностью, и пойти после школы к Ангелине стало так же невыносимо, как и не пойти к ней.

Да и дело было не в языке, какое там! Ангелина — порыв, задыхание, сполох, неумолчная трещотка, беспокойные ноги, цепкие руки; куда она делась от нас? Кто уселся вместо неё на стремянку возле окна, от чьих самокруток по всему дому косматые призраки дыма? — прежде она при нас не курила, утекала на балкон, завернувшись в куртку, или вовсе терпела. Кто это вместо неё, не наморщив лба, не состроив нам никакого специального лица, бесконечными скучными часами затеял разглядывать то ли огни речного порта вдалеке, то ли собственное слабое отражение, размытое и умноженное двойным оконным стеклом…

Всё шло к тому, что пора прощаться. Не сейчас, не сейчас! — умоляли мы про себя, — но завтра, или послезавтра, или через неделю. Ангелина, наверное, разлюбила нас: оттого же, отчего полюбила когда-то. То есть, только бог знает.

Так вот, господи, за что?.. Мы любили её так страстно и странно, и она отвечала нам такой взаимностью, что, узнай родители — от ревности запретили бы не то что ходить к ней, а даже звонить, даже писать, даже поднимать глаза на неё при случайной встрече. Но Ангелина никогда не обнаруживала своей взаимности прилюдно, и для посторонних выходило скорее так, что мы ей как бы немного

досаждаем, а она как бы немного нас терпит. Дружбу с ней родители — что мои, что Настины, — почитай благословили: так их обмануло неяркое лицо Ангелины, её тугие рыжие косы и длинные скромные юбки, её честные руки художницы с чистыми короткими ногтями. Вдвое старшая, она положительно на нас влияла. Всё между нами было честно и чисто, а кроме того, виднелась в ней блаженная неустроенность умного, доброго и, должно быть, верующего человека, — так она подкупила наших родителей и отвела им глаза.

…о, знали бы они!

Шестой, последний класс школьного рисования, новенькая учительница, — и половину урока спустя мы были уже влюблены.

Нас с Настей воспитывали похоже, обучая больше литературе, чем жизни, и больше музыке, чем настоящей человеческой природе. Как будто солили грибы, не придумать сходу другого сравнения: бесконечная трамбовка и гнёт. И соль, разъедающая ранки. Музыка не лезла в нас больше. От литературы тошнило. Тем более — от музеев, театров, экскурсий, от культуры вообще, от всего того, что родители тщательно и не слишком разборчиво пытались утрамбовать в нас. Так гордо и тяжко выговаривалось на семейных праздниках, что «растим настоящих людей», и таким удушливым жаром заливались мы обе… Другим девочкам ровно из тех же соображений покупали джинсы и золотые цепочки: выставляя на всеобщее обозрение материнскую и отцовскую любовь и состоятельность. Нам давно уже были ненавистны белые блузки, и нотные тетради, и чтение по ролям, и пустоглазые бюсты страшных композиторов, и музейные наборы открыток. Что говорить о «культурных вечерах» на две семьи и нескольких общих друзей, где мы были принуждены то изображать дуэт фортепиано и скрипки, то читать стихи в два голоса… Мы были переполнены этой возвышенной дрянью и готовы взорваться.

Чтобы не взорваться, не сорваться — и только ради этого — мы с Настей всё время были влюблены. Всегда вместе, в одного и того же или одно и то же, или без предмета любви вообще, но неистово, отчаянно, смертельно. Внутри нас давно уже было готово место для Ангелины. И вот она пришла.

Первое: руки. Широкие ладони с длинными и крепкими пальцами, узкие запястья, расчерченные венками такой пронзительной

голубизны, словно вместо крови по ним бежал пылающий спирт. Второе: глаза, даже не карие — будто бы чёрные на бледном лице, и чёрный же, исходящий из них, то ли жар, то ли ветер. Третье: волосы, змеиный огненный узел из двух тяжёлых кос на затылке. Четвёртое: прозрачное пламя школьного заоконного клёна, которое мы каждую осень силились и не могли перенести в акварельные альбомы. От прикосновения подцвеченной воды пламя гасло и, расколдованное, превращалось в багровые и жёлтые потёки на покоробленной бумаге. Пятое: сама Ангелина, разделившая нашу неловкость перед обязательной акварелью и разрешившая рисовать чем угодно — хоть фломастерами, хоть шариковой ручкой, хоть цветными карандашами. На чём угодно: на разъятых обувных коробках и газетных листах, на обрывках журналов и обложках тетрадей.

Мы с Настей никогда не сидели вместе, охраняя нашу дружбу (бывшую на самом деле больше любой дружбы, какую только могли бы представить родители и учителя) и не выставляя её напоказ. И теперь неподвижная прямая спина из-за первой парты сигналила на мою третью, что Настя смотрит на новую учительницу во все глаза, может быть, даже открыв рот, и горячо думает: «Моя!». «Нет, моя!» — ревниво сверлил эту спину мой взгляд, и на перемене, встретившись, мы молча согласились: наша.

На следующем уроке я, обмирая от собственной смелости, представила Ангелине, как справилась с несчастным этим клёном. Фольга от шоколадки, лак для ногтей, ничего больше. Было не похоже на клён, было вообще ни на что не похоже, но светилось так же в точности, как листва за окном. Она сказала: «Отлично!» — и направилась к Насте. И я увидела, привстав, что Настина парта черным черна, испачкана тушью; нет — нарочно выкрашена тушью, толстым матовым слоем, а из черноты выступает резкий силуэт дерева, золотой и янтарный — в настоящий цвет парты, в её старую жёлтую доску и мебельный лак. Настя, удостоверившись, что учительница разглядела произведение как следует, вдруг провела поперёк золотого дерева мокрой тряпкой, размазав тушь. А потом пошла, вымыла тряпку под краном и вытерла парту начисто, как и не было ничего.

За это, как будто не бывшее, Ангелина поставила ей пятёрку в журнал, хотя сперва обещала, что вообще не будет ставить оценок. Настя

сияла от гордости, я сгорала от ревности, Ангелина высилась и пылала над нами — она сама была тот несгораемый райский клён, — и по всему выходило, что к концу урока от класса были должны остаться одни дымящиеся угли.

После уроков мы кинулись к родителям. У нас новая учительница, она живёт на Нагорной, совсем рядышком, и даёт частные уроки! Мы так хотим к ней, ну пожалуйста-пожалуйста!..

Семейная разведка донесла вскоре, что Ангелина Григорьевна — исключительно приличная женщина. Одинокая, немножко не от мира сего, но замечательный педагог, так все говорят. Дочь самого Батакова, лучше и придумать нельзя, если девочкам вздумалось поиграть в художников. Моя бабушка поначалу озаботилась риском обнажённой натуры и актуального искусства, но в картинной галерее райцентра под авторством «Батаковой А.» висела всего лишь пара скромных пейзажей с кувшинками.

Тем непонятней родителям была наша внезапная одержимость. То, на что мы обращали влюблённые взгляды доселе, было откровенно дурно и вызывающе, но пейзажи с кувшинками оказались нежны, лиловы и безобидны, и всё было списано на естественную девическую склонность к романтике. В кои-то веки мы с Настей вели себя как нормальные культурные девочки и сами просили того, к чему нас с пелёнок приобщали едва ли не насильно.

Три раза в неделю с тех пор мы были допущены в дом на Нагорной, вернее, даже не в дом, а в длинную мансарду над двухэтажным старинным складом, где обитала наша любовь.

Кто бы мог подумать, что на жалкой и грязной Нагорной, посреди заборов и складов, выбитых окон, новых дверей кооперативов, в царстве сырого красного кирпича и серого бетона, скрытый от глаз, существует такой рай…

Цветные квадраты стекла в тяжёлой металлической оплётке — большое, запрокинутое к небу окно; наполовину разбитое и заклеенное малярным скотчем с нарисованными человечками — маленькое; круглые абажуры из сухих трав, бегучие тени от них по стенам, стеклянный чайник с утонувшей внутри зелёной хризантемой, четыре разнокалиберных мольберта-хлопушки, продавленные подушки

от старой софы, брошенные на пол. Керосиновые лампы, песочные часы, свечи, глиняные и латунные статуэтки. Запах — о, сердце замирало, и по сей день готово остановиться, когда из чужого окна или подвала вдруг — тяжёлый скипидар, бархатный кофе, крымский дешёвый ладан, дрянная едкая химия, бесхитростная нищая кухня…

И сама Ангелина, впервые явившаяся нам без отчества, словно ровесница. Как не подходили ей, оказывается, строгие учительские платья; как старило, истончало её привычное серое и голубое — и как шло домашнее чёрное!

Чёрное было неромантическим: тренировочные штаны, к тому же, с дыркой на коленке, и растянутая олимпийка. Но выглядело так, будто полумрак мастерской исторгал её из себя, из чёрного цвета — навстречу нам: с бледным лицом и углями глаз, с горячей медью незаплетённых волос, с незнакомыми тонкими очками на носу и пятном краски на подбородке.

Месяца не прошло, как мы тоже облачились в чёрное, расстроив родителей. Они великодушно приняли и поняли наш переходный возраст, не догадавшись, что здесь — любовь.

Сперва месяца не прошло, а потом месяцы эти полетели, как монетки из дырявых карманов. Мы изучали анатомию и теорию живописи, пропускали школьные обеды, чтобы сохранить деньги на тюбик церулеума или араратской зелёной, обзавелись болоньевыми передниками и рабочими халатами, радовали родных сносными для подростков пейзажами (лодки, сосны, беседки, всё такое, такое…) и страшно важничали в школе.

Я стала хуже учиться, и это обернулось первой моей победой над домашним укладом. Мама вечерами в расстройстве выговаривала отцу про мои четвёрки и невозможные прежде тройки, про отказ от дополнительной математики, провал на английской контрольной и прочие стыдные вещи. Я подслушивала, замерев, как она восклицала: «Что же нам, запретить ей рисовать?» — и как отец, перебирая ворох моих набросков, неуверенно отвечал: «Лёля, вдруг она лучше знает, что ей нужно в жизни?.. По-моему, здесь талант…». В тот же вечер он зашёл ко мне и, стыдясь (он всегда стыдился денег), положил на стол несколько сложенных купюр, пробормотал: «на краски…» и закрыл за собой дверь, не дожидаясь изумлённой благодарности.

Насте пришлось тяжелей. За оценки её разлучили с Ангелиной на три недели, и лишили карманной мелочи, и мать даже поднимала на неё руку вопреки собственному убеждению о невозможности таких наказаний. Три этих проклятых недели Настя рыдала и почти ничего не ела, перепугав родителей до полусмерти, и в конце концов явилась на Нагорную победительницей, торжествующим зарёванным призраком с новой папкой для набросков.

Наши дни в мастерской были разделены на обязательную и произвольную программу. Наскоро откатав обязательную (лодка в камышах, портреты друг дружки, ваза с георгинами), мы обрушивались в произвольную, как с головой в омут.

Там, в незнакомом и чудном омуте, можно было рвать бумагу, размазывать краску пальцами, вырезать из «Огонька» работы больших художников, дорисовывать и клеить поверх них. Можно было лепить пластилиновых кукол и оставлять до завтра возле горячей батареи; завтрашние они не снились никакому Босху. Бить стекло, резать фольгу, поджигать рассыпанный на ватмане чёрный порох (что бы ещё так утолило нашу неосознаваемую потребность бить, резать и поджигать?), ставить кляксы поверх готовых работ, подписываться отпечатком пальца или кончика носа. Быть на «ты» (бог ты мой, какая ещё Григорьевна?), тормошить друг друга, повторять бесконечно шутку о всадницах Апокалипсиса (Ангелина рыжая, я светлая, Настя тёмная) и о том, что нам нужна четвёртая девочка: «бледная!» — «нет, лысая!», хохотать, жарить картошку на керосинке, служившей функциональным арт-объектом, пить чай с каменными карамельками и старым коричневым мёдом, пока не зазвонит телефон и Ангелина ровным учительским голосом не объяснит моему отцу или Настиной маме, что «девочки опять немного задержались, простите, я должна была следить за временем».

Так странно стало в школе, где она была не наша, а для всех, и звалась Ангелиной Григорьевной…

Но мы-то сами хороши! Мы там вообще были Архипова и Смирнова.

Весь шестой класс, всё лето и почти три четверти седьмого класса мы жили как во сне, как в раю, а потом Ангелина разлюбила нас. Не

решалась сказать, наверное, — но скрыть не могла. Мы теперь мешали ей и отвлекали её, хотя ничем не провинились и ничего не натворили. Мы убирались в мастерской, воровали для неё еду из дома и помогали перешивать платья, купленные на блошке, а она всё равно разлюбила нас… Может быть, потому, что полюбила кого-то ещё?

Мы были далеко не невинны и понимали, что Ангелина наверняка встречается с мужчиной и занимается любовью. Но проще было бы стерпеть, что она безумная нимфоманка и убивает своих партнёров, что её привлекают деревья, животные и мёртвые тела, чем то, что она полюбила нормального какого-то человека, захотела семью и ребёнка и решила отказаться от нас.

Уже давно мысля себя почти взрослыми, мы вдруг стали брошенными детьми. И даже хуже: такими детьми, которые знают, что их скоро покинут, и замерли в ожидании, и не смеют заплакать.

Ангелина проколола язык и была теперь как Цицерон — с камнем во рту, с прозрачным цирконом. Она перестала выговаривать буквы «р» и «ш», но, прервав молчание, всего за день научилась снова. Нам, измученным двухнедельным отвержением, она сказала: «Я убила человека».

И я, прежде чем изумлённо отшатнуться, вдруг прочитала в Настиных растаявших глазах: «Всего-то?» — и поняла, что это ужасное «всего-то?» рвётся и из меня тоже, рвётся и торжествует. Не разлюбила нас! Человека убила. Подумаешь. Спрячем. Скроем. Сбежим. Станем лжесвидетельствовать. Уйдём в бродячий цирк, уедем в Коктебель, в Монголию, в Буркина-Фасо, что-нибудь придумаем.

Если бы Ангелине потребовалось зачем-то взять нас голыми руками, свить из нас верёвки, забрать наши живые души — момент был самый подходящий. Мы были готовы.

Но мы оказались ей вообще не нужны. Ей вообще никто не мог помочь, потому что убитый человек, Григорий Ильич Батаков, родной отец, спокойно жил себе на улице Гагарина, ходил в магазин за пельменями и водкой, смотрел телевизор, водил домой баб и ни сном ни духом не знал, что мёртв уже четырнадцать лет.

Подростком, нашей ровесницей, тихой приличной девочкой Ангелина принесла домой метиловый спирт в водочной бутылке и оставила под отцовским столом, стерев шарфом отпечатки пальцев. Ушла к подруге на все выходные, кто бы ей запретил? — забитая и

перепуганная мать? — непросыхающий Батаков? — и там, в гостях, в обыкновенном человеческом доме два дня делала вид, что жизнь продолжается. В доме смотрели телевизор, варили суп, говорили обыкновенными человеческими голосами, пекли пироги с капустой. Ангелина с подругой заполняла песенник и вырисовывала гуашью заголовок школьной стенгазеты, и вскидывалась на каждый телефонный звонок, и каждый час или два впадала в безнадёжное обморочное оцепенение, а потом, не дождавшись звонка, вернулась домой и узнала, что жизнь продолжается в самом деле. Без неё родители в очередной раз заключили хрупкое лживое перемирие, устроили большую уборку и вынесли из дома весь алкоголь. Много лет потом она ни словом не перемолвилась с Батаковым. О чём говорить с тем, кого убила?

Бедная маленькая Ангелина! Бедная наша девочка… То, что пылало в ней и очаровывало нас, было ненавистью и стыдом — но не умаляло нашей любви, наоборот. Отвратительное клеймо, которое она добровольно несла на себе половину жизни — ненавидящая дочь алкоголика, убийца — расцветало в наших глазах страшной королевской лилией, отметиной свыше. Мы ведь понимали, что с ней всё непросто, с самого начала. С такими, как Ангелина, просто не бывает.

Всё дальнейшее было на сплошном выдохе: мы успокоились и утешились. Всё дальнейшее описывалось легкомысленнейшим «подумаешь!» и казалось совершенно разрешимым (мы были чертовски наивны тогда — и всё, что не убийство, посчитали разрешимым).

Громадная мансарда Ангелины была на самом деле мастерской художника Батакова и по документам обозначалась ста двадцатью квадратными метрами нежилого помещения, принадлежавшего городской администрации. И она — в этом нежилом — жила. После смерти жены Батаков не то чтобы договорился с дочерью, но как-то само собою вышло, что она не появляется в квартире, а он — в мастерской. Он двадцать или больше лет не брал кистей в руки и в мастерской не нуждался, и там, на его взгляд, было хуже и неуютнее, чем в квартире.

Теперь Ангелину должны были выгнать из её нежилого дома. Сто двадцать метров, не приносящие никакого дохода, стали администрации бельмом на глазу. Она узнала две недели как, тогда и проколола язык по примеру какой-то безумной английской художницы,

чтобы никого не проклясть случайно. Всё думала, решала, как быть, спрашивала устроенных и понимающих жизнь знакомых, и по всему выходило, что ей стоит уговорить Батакова на большую шумиху. Это значит встретиться с ним. Просить его, чтобы устроил выставку, позвал журналистов и телевидение, публично заявил, что у него, гения, хотят отобрать мастерскую. Просить, зная, что ни дочь, ни мастерская давным-давно не нужны ему. Зная, что выставку не из чего собирать: давным-давно заработав себе имя, теперь Батаков числился художником лишь по старой памяти, а из работ его сохранилось разве что длинное панно с какими-то синими комсомолками в актовом зале музыкальной школы.

В тот вечер на нас снизошло блаженное безумие. Ещё жива память о том, как оно снисходило: мороз по коже, и восторженный грохот сердца, и чувство, что мы готовимся совершить нечто запретное — и в то же время угодное всем возможным богам. Мы решили обойтись без Батакова вовсе.

Это для Ангелины он был грозным шекспировским призраком, отравителем юности, жутким тёмным отцом. Мы с Настей не боялись Батакова и даже презирали его. Что жуткого в козлобородом старикашке, топчущемся возле гастронома? Кому он нужен, на что нам сдался? Мы сами втроём станем Григорием Ильичом Батаковым и поднимем шумиху до неба. Нет, не слабо. Подумаешь, синие комсомолки…

Цвела весна, всё кругом цвело и сияло, мы были пьяные от солнца и ветра и ходили не касаясь земли. Теперь после школы мы направлялись не в мастерскую, а на блошку: присмотреться к самым дрянным и дешёвым холстам с пионами, самоварами и яблоками. Иногда их отдавали чуть ли не даром — после ремонта или чьей-то смерти; иногда огромная картина стоила втрое меньше метра художественного льна. Провисы холста и кракелюры были нам только на руку: мы ведь собирались в считанные месяцы воссоздать двадцать лет серьёзной работы Григория Ильича.

Ангелина записывала их поверх на сухом скипидаре, без лака и льняного масла, чтобы краска скорее сохла и чтобы живопись выглядела потрёпанной и старой. Да, те самые синие комсомолки, и золотые подъёмные краны, и красные кони. Мы с Настей поначалу только

мешали краски и наводили фактуру, этого уже хватало для торопливого восторга и задыхания, а потом принялись писать сами как бог на душу положит. Мало ли, криво. Мало ли, глупо. Может быть, так и задумано. Григорий Ильич художник, ему видней!

На Григория Ильича можно было списать все наши огрехи и ошибки, ему всегда оказывалось видней.

«Надо больше жутких рож! — командовала Ангелина. — Одно время было очень модно писать жуткие рожи!» — и появлялись серо-лиловые алкаши в мятых кепках и мутные селяне, конечно, вперемешку с бесплотными белыми ангелами. Кончался май, нам повезло: почти полностью забросив учёбу, мы не успели нахватать плохих оценок и были переведены в восьмой класс без родительской истерики.

Какая дача, какой лагерь, что вы?.. Летом мы остались на Нагорной, на нашей волшебной горе, твёрдо объяснив родным, что помогаем Григорию Ильичу готовиться к выставке. Твёрдость наша родителей теперь восхищала: мы вроде бы перестали хвататься за всё сразу и влюбляться в кого попало, обнаружили привычку серьёзно работать и представлялись им почти готовыми к взрослой жизни. Не знаю, как Насте, а мне было страшно: вдруг они столкнутся с Батаковым на улице и всё поймут? Но, по правде, никакой угрозы не существовало. Они помнили Григория Ильича длинноволосым нестарым дядькой с мушкетёрской бородкой, небожителем в замшевой куртке, и вряд ли узнали бы его в сегодняшнем печальном человеческом обломке.

Настя, прежде робкая, вдруг осмелела и отделилась от нас с Ангелиной, затеяв собственный маленький проект. По клеточкам со старых фотографий она переводила на оргалит маленькую Ангелину: в белых бантах и школьном фартуке, в шапке с помпоном среди голых деревьев, записывала всё пространство вокруг неё безумными цветами, оставляя узнаваемыми только рыжие косы, намечая на размытом лице только глаза. Я умирала от зависти: так всё это оказалось похоже на быстрые этюды большого художника. Якобы сел молодой Григорий Ильич перед мольбертом — и не задумываясь, разминая руку, в несколько мазков написал дочь, потому что она как раз пробегала мимо. Ангелине не понравилось, но она признала, что работы хороши.

Не по душевной потребности, а из одной чистой зависти я тоже стала выдумывать своё. Чудное слово «инсталляция», услышанное от Ангелины, несло в себе что-то инженерное, и медицинское, и кибернетическое. Я пролистала справочник по дурному искусству загнивающего Запада и не сумела вдохновиться ничем. Мне было нечего сказать.

Так бы и продолжалось, если бы по невнятному наитию мне не случилось купить на блошке маленький бюст Ленина. Какой-нибудь извращённый Ленин обязательно должен был присутствовать на выставке, это считалось хорошим тоном.

Притащив добычу на Нагорную, я крутила её так и эдак, примеряла к ней серебрянку, и целлофан, и масло, и наконец додумалась. Я целиком обмазала маленького Ленина зелёным архитектурным пластилином и облепила поверх мелкими ракушками и камушками, которые у Ангелины водились в эмалированном бидоне под кроватью. А дальше мы придумали вместе: положили Ленина в трёхлитровую банку, залили водой, посолили, добавили лист хрена и несколько зубчиков чеснока и закатали крышку. Мы хохотали над засоленным Лениным целый вечер (а вдруг он заплесневеет? — что ты, будет ещё лучше!) и я торжествовала, и Ангелина хвалила мою находку.

За лето в моей коллекции домашних консервов прибавились маринованный Будённый, яблочный компот с Бетховеном, Есенин в стеблях ревеня — и самая жемчужина: Моцарт в марганцовке с позолоченным лицом. Над прочими я смеялась, а Моцарта действительно любила. Кто-то счастливый и бесплотный водил тогда моей рукой, кисточкой с золотой краской, лёгким и ровным дыханием. Даже жалко было отдавать Моцарта мёртвому Григорию Ильичу.

Чем ближе к осени, тем явственнее угасала Ангелина. Мы теперь скорее жалели её, не обнаруживая в себе прежней горячей влюблённости. Да, она именно угасала, превращалась на наших глазах в прекрасную прозрачную русалку, но мы-то полюбили совсем не русалку! Куда делся наш пылающий ангел, наш неопалимый куст, наша горящая гора? Распылился на четыре десятка фальшивых холстов и стопку картонок? И туда же следом канула наша любовь? Эта бледная девочка с вечным бронхитом и холодными руками — теперь наша Ангелина? Да быть не может!

Мы были вдвое младше, намного крепче и почти не ощущали того, что испепеляло нас. Только встревоженные родители, только осторожные домашние разговоры о том, что манекенщины — дурные женщины, а наркотики — абсолютное зло, давали понять, что и мы с Настей не в порядке. Только постоянный лёгкий озноб и полное безразличие к еде. Если ещё в июне мы думали, что наконец-то попали в настоящую жизнь, то к началу сентября уже не жили вовсе. Батаков съел нас. Не похмельный старичок, отец Ангелины, а настоящий Григорий Ильич Батаков, щеголеватый пожилой красавец, умник и юморист с неразменной смоквой в кармане. Ему-то было хорошо, ещё бы! Кому бы ещё довелось воплотиться, получив в полное распоряжение три молодых и сильных тела?

Нам теперь хотелось дотянуть до выставки и всё забыть. Спасти Ангелину и пойти в кино, и гулять в парк, и за пончиками, и на дискотеку в дом культуры. И, может быть, не появляться на Нагорной неделю или две.

«Или вообще», — сказала Настя.

И я одёрнула её, но про себя согласилась.

Надев своё бесцветное учительское, заплетя косы, подкрасив губы, Ангелина ходила то в отдел культуры, то в редакцию местной газеты, то в офис кабельного канала. Звонила кому-то даже в Москву, договаривалась, приглашала, обустраивала. С Нагорной пропали всякие признаки жилья: выставку следовало провести прямо в мастерской — и постель Ангелины, и наши чашки, и тапочки наши канули в кладовку.

Разговор с отцом, так долго заранее мучивший её, произошёл спокойно и совершенно бесчувственно. Батаков легко согласился подзавязать на неделю, сходить в парикмахерскую и прилично одеться. Он заглянул в мастерскую, чтобы ознакомиться с делом рук наших, и мы ждали чего угодно: вспышки ярости, раскаяния перед дочерью, изумления, ругани, слёз, — но не того, что случилось. Оглядев холсты и инсталляции, Григорий Ильич усвоил себе что-то приятное и горделиво приосанился. «Ну, ты, Гелька, даёшь! — одобрительно сказал он. — Наша порода, наша!»

И тогда я впервые почувствовала, что сейчас упаду. И увидела, как Настя с привычной своей размеренностью движений присаживается на пол: так, будто ей просто захотелось посидеть на полу.

Ангелина, словно не задетая ничем, проводила его и привела нас в чувство.

«Подумаешь, дрянь какая! — посмеиваясь, быстро говорила она. — Вы чего завяли, а? Ну-ка хватит умирать! Вам с ним детей не крестить! Могло быть хуже, между прочим!»

У меня дрожали руки и болело почти всё. Настя улыбалась и делала вид, что всё в порядке. К вечеру простуда, тлевшая уже пару недель, догнала Ангелину, и нам пришлось вызывать ей врача, уговаривать приехать в нежилое здание, встречать его на улице.

За неделю до открытия выставки Нагорная попала в карантин. Мы говорили с Ангелиной только по телефону, безропотно выполняя указания. «Если вы ещё свалитесь, это будет конец всему! — уговаривала она нас, рвавшихся к ней с лекарствами и малиновым вареньем. — Настя, записывай, что надо купить!»

Нужно было печенье, яблоки, хлеб и какой-то сыр, краснодарское вино и пластиковые стаканчики. Нам помогали родители, против воли втянутые в выставочный водоворот. «У девчонок наших выставка!» — смущённо поясняли они знакомым продавщицам покупку десятка бутылок. Как будто это была наша с Настей собственная выставка, а они же ничего не знали… Нужно было как-нибудь особенно одеться, а праздничные вещи вдруг сели на нас нелепо и странно: я немного выросла за лето, а от Насти просто ничего не осталось.

В последнем хулиганском порыве мы уговорили Ангелину (просто чтобы увидеться с ней) засыпать пол в мастерской кленовыми листьями, а посередине установить цементную урну с финтифлюшками. Разрешить посетителям курить, и пусть это будет пепельница. Откуда взять урну? — а украсть из парка! И листья, конечно, из парка тоже.

Мы таскали эти листья через три квартала. Наверное, было смешно: худенькие девочки с огромными, но совершенно невесомыми мешками. И урну, неподъёмную, тоже дотащили вдвоём. Ангелина, стараясь не дышать на нас и кутаясь в тёплую рваную кофту, переносила с места на место лампы, распутывала удлинители и беспокоилась, выдержит ли проводка. Для выставки нужен был особенный свет.

— А хорошо было бы, — сказала она вдруг, — чтоб проводка не выдержала. Чтобы всё здесь сгорело к чёртовой матери! Ты ведь понимаешь, Настя?..

Это было единственное моё человеческое чувство в ту осень. Обжигающе печальное сознание, что она любит Настю больше меня. Что Настя ей родней и ближе просто от природы; как бы я ни старалась — мне не приблизиться к Ангелине настолько. Что так бывает…

Мы простились, готовясь пережить завтрашний трудный день, а ночью Ангелину увезли в больницу с воспалением лёгких.

Нагорная без неё почти не опустела. Уже утром было многолюдно: приехала заведующая отделом культуры со свитой, пришли с кабельного и расставили свои треноги, явился сам Батаков с подстриженной бородой и немного прояснённым взглядом. Но мы стали там как чужие, особенно я в чёрном с блёстками платье, купленном вчера по маминому настоянию; Насте хватило безразличия, чтобы явиться в поношенном спортивном костюме. Мы жались у стен, не зная куда себя деть, пытались разложить на столике бутерброды и нарезанные яблоки, разбили бутылку вина и неловко вытирали пол. Даже когда Батаков прямо перед камерой махнул в нашу сторону рукой и сказал: «...это?... а… ну… ученицы!»— мы не шевельнулись и не возразили.

«Что, — спросил мой отец, — ученицы Батакова? — и повернулся к матери, — Вот это дают наши девочки!»

Может, и хорошо, что Ангелина заболела, — думали мы. — Хорошо, что она этого всего не видит. Мы справились (восторженный возглас и взрыв хохота позади, вспышка фотоаппарата). Никто её отсюда не выставит.

После открытия выставки с официальными лицами через Нагорную потёк слабенький (мы жили всё же в небольшом городе), но постоянный ручеёк посетителей. Из какого-то московского журнала приехали брать интервью у Григория Ильича. Он не вязал лыка, но это никого особенно не удивило: чтоб художник да не пил! Настя спасла положение, устроив корреспонденту экскурсию по выставке, разъяснив концепцию некоторых работ и смущённо извинившись за Батакова: «Понимаете, он почти не пьёт, но с этой выставкой такие нервы!» Явился откуда-то пожилой плюгавенький немец и произнёс горячий монолог, из которого было понятно, что Батаков абсолютно гениален и что немец готов купить здесь практически всё.

Григорий Ильич расслышал «купить» и немедленно стал вдвое выше ростом. Нам, как ни странно, совсем не было противно. Мы

выросли тоже, и я шёпотом сказала Насте: «А вот пускай теперь попробуют отнять мастерскую у международной знаменитости!»

Нам нужно было в школу, и вместо нас Григорий Ильич привёл на Нагорную незнакомую гладенькую девицу. Она целый день сидела в мастерской, приветствовала посетителей и предлагала написать что-нибудь в книге отзывов, пришёптывая: «Вы же знаете, что администрация хочет отнять у Григория Ильича это помещение?..» После этого каждый второй отзыв требовал убрать руки прочь от художника и поддержать современное искусство на государственном уровне. Мы, вероятно, были спасены.

И тут, откуда ни возьмись, явился липкий и тяжёлый страх. Григорию Ильичу определённо понравилось быть значительной фигурой… Что если он присвоит себе всё это и решит остаться в мастерской? Что мы будем делать с ним, самозванцем? Неужто на самом деле убьём?

Но страх можно было отложить на потом. Выставка кончится, посетители исчезнут, и Батаков, может быть, исчезнет с ними вместе: что ему толку в Нагорной, когда там не превозносят до небес и не наливают?

Теперь, когда самое трудное осталось позади, мы с Настей продолжали безразличную, автоматическую жизнь. Мы сидели на уроках и получали оценки, занимались домашними делами, с кем-то о чём-то разговаривали, но никак не могли вернуться к себе прежним. Было бы понятно, если бы после всей этой истории мы изменились, стали хуже, или лучше, или какими-нибудь ужасно особенными, или истеричками…

…Дело в том, что нас после неё вообще не было.

Утром (это был вторник, седьмое) Настина мама пришла за нами после первого урока. И мы, без всякого движения и смятения внутри, сразу поняли, что она скажет.

Но от её голоса вокруг нас словно бы треснуло стекло. Мы знали, что она скажет: «Девочки, Ангелина Григорьевна умерла сегодня ночью в больнице», — что пришла сказать первой, пока нам не сообщили в школе чужие и мы не остались перед ними одни. Мы ничего не чувствовали, но когда это было произнесено — треснуло, взорвалось, вспыхнуло — и почему мы тоже не умерли на месте, никто не знает.

Слёзы и ничего больше, мгновенно, с подламыванием коленей и закушенными рукавами, с недоумением, отчего внутри такой нечеловеческий вой, а наружу вырывается слабенький жалкий писк, с чьим-то хлопотом над нами, ледяными мятными каплями в кабинете завуча, с цеплянием друг за друга и отталкиванием любых рук — потому что это не её руки! Без покоя и опустошения потом: горе, горе, сплошное горе, слёзы прибывали и заполняли нас снова и снова, беспрерывно. Нас не пускали в школу два дня и на похороны не отпустили тоже. Может быть, мы и сами не смогли бы прийти…

Мы звонили друг другу и всё время плакали. Наша любовь не угасла тогда, она лишь притихла, отстранённая долгими делами, и теперь просияла заново, вдвойне горячая от утраты. Ангелина и мёртвая не покинула нас, она и оттуда любила — и вытаскивала, вымаливала, вымывала нас из голодной пасти страшного Григория Ильича. Он всё, чем были мы, забрал себе, — а она находила и дарила снова, и каждый возвращённый дар жёг и болел.

Настя бросила масляные краски и утонула в ненавистной прежде акварели: лишь там было достаточно воды, чтобы утишить эти ожоги. Я просто бросила, и всё. В конце концов, я не была художником, я им всего лишь побывала, и мне не хотелось больше. Нас теперь с равной силой отталкивало друг от друга — и друг к другу тянуло: мы стали слишком разными, но — как разнятся родные сёстры. Сквозь жар постоянных слёз, сквозь туман бесконечного горя наконец стало проступать то, чем жизнь была в действительности, и это, проявившееся, оказывалось чудно и ярко: в конце концов, мне было четырнадцать, Насте пятнадцать лет, и время лечило нас скорее, чем взрослых.

Мы хотели сделать что-нибудь в память об Ангелине, но никак не могли договориться. Может быть, поджечь Нагорную, — здесь мы даже сошлись, но то ли не поднялась рука, то ли Нагорная внутри нас и так уже горела, то ли это показалось мелко. Страшно было, что с наследством Ангелины нам теперь всё и везде на свете будет мелко, а ведь ещё жить и жить…

Может быть, и жить, да. Бежать холодным вечером по тёмной улице туда, где тебя любят и никогда не оставят. Улыбаться всему, что умрёт.

Вирус

Началось в поезде, — вспоминаю: поезд был уютный и чужой, сидячий вагон с полосатыми креслами, и некоторым не доставалось никакого соседства на креслах этих. После полуночи они снимали ботинки и укладывались на бок ненадёжно дремать, придерживаясь за поручни неспящими руками, распахивая бессмысленные глаза, когда поезд вдруг замедлял ход. Мне досталось нормальное соседство: парень в чёрной куртке с молодым неподвижным лицом и круглолицая девочка лет пятнадцати, поверх свитера закутанная в зелёный узорный платок. Той ночью было зябко.

Они перешёптывались половину ночи, потом на короткой остановке вагон насквозь прошёл многозначительный суровый дед с прямоугольной сумкой наперевес, и парень кинулся за ним. И вернулся воодушевлённый, и повёл девочку в тамбур, и вернулись они пахнущие невнятным спиртом и плохим табаком. Потом они выходили ещё несколько раз. Потом парень, в чёрной куртке этой, плакал. Они всё шептались, и оказалось, что он едет домой из армии, а его девушка неделю назад вышла замуж, а живут они в одном подъезде и теперь будут видеться на лестнице каждый день. Я видел его лицо в немытом окне, он специально отвернулся, но в отражении стал мне ещё виднее; рот у него не перекашивался и лоб не морщился, но по щекам катились мелкие кривые слёзы. Потом она его обнимала, спрятавшего заплаканное лицо в колени ей, гладила по спине и приговаривала ночным бесстрастным шёпотом: горюшко ты моё…

Горюшко ты моё, — шептала как никому, как никуда, глядя не в его бритый затылок, а мне в глаза, или нет, в подбородок, или ещё ниже, в шею, в горло, туда, где собирается временами бессловесный горючий комок; будто бы никто живой перед ней не сидел.

Потом она вышла, а он снял ботинки и пристроился спать, прижимая рукой не сердце, а с другой стороны: должно быть карман с паспортом и деньгами, шумно сопя и дёргая непросохшей щекой. А ко мне в соседнее кресло уселась молчаливая старуха — и весь остаток ночи я завидовал ему, спящему.

Тогда я впервые увидел, как плачут, не меняясь лицом. И впервые услышал это, про горюшко, будто бы не девочкой-подростком прошёптанное, а кем-то изнутри неё, бездумным и древним, привычным сожалеть и утешать.

Он сидел напротив меня, а жизни у него уже не было. Кого-то он однажды сильно напугал. Наверное, мать. Отцы чаще бывают против. И тогда мама — как наяву вижу хмурое осеннее утро — отвела его взъерошенного и голодного, отчитывая и одёргивая по пути, в поликлинику. И тётя врач холодными руками уколола ему лидокаин в лоб и в подбородок, в невидимые ещё складки возле губ, в понятные только врачам точки на щеках и под глазами; это, наверное, было почти не больно. И другой врач, белый халат на котором гляделся нелепо и чужеродно, поднёс электроды к его обездвиженному лицу.

Что он натворил и натворил ли; виделся ли в нём заранее плакса, или хулиган, или жулик, или просто недобрый человек, что она в нём разглядела тогда, чего испугалась, зачем отвела в поликлинику?

Я видел такие кабинеты, в них всё было стерильно и легко. Двадцать лет назад моей сестре в таком же кабинете прокололи уши специальным пистолетом. Она встала с кресла, удивляясь, как быстро и безболезненно всё кончилось, и всю дорогу до дома тянулась потрогать уши, а мама замечала и останавливала её руки. Наверное, он потом тоже тянулся потрогать лицо.

Это было стерильно, легко, дорого и очень популярно год или два подряд. Потом оказалось, что людей с молчаливыми бесстрастными лицами не любят на экзаменах и собеседованиях, что им трудно найти работу, что во всех уважающих себя компаниях есть специальная комната, где сидит человек вроде меня, приученный отмечать их с первого взгляда и сочувственно говорить: «К сожалению, вы нам не подходите». И той ночью спал напротив меня двадцатилетний мальчик, пожизненно обречённый в дворники или работники склада.

Я смотрю на Алёну и начинаю понимать эту глупую маму.

Она похожа на нас обоих: губы у неё мои, и пальцы мои, и волосы, а глаза Верины, и длинная шея тоже от неё, и ямочка на подбородке, и щиколотки, и грудь.

Она очень красивая, и сию минуту я думаю с гордостью: «У меня очень красивая дочь», но гордости ненадолго хватает. Однажды, уже скоро, вот эта девочка… это существо… этот невероятно сложный организм, однажды он перестанет расти и начнёт умирать. Как это у нас, людей, водится. Ей будет двадцать пять, может быть двадцать семь. Это случится в одну ночь, потому что чаще всего случается ночью. Она проснётся с новым лицом, совсем другим лицом, и проживёт с ним столько, сколько осталось умирать её сложному организму. Может быть, ещё пятьдесят лет. Может быть, шестьдесят. И от того, какой она окажется с утра, будет необратимо зависеть, как именно она проживёт огромные оставшиеся годы. Я могу прямо сейчас пойти и потребовать, чтобы ей разрешили пересдать нормативы по физкультуре, чтобы не портить аттестат четвёркой. Если её кто-то обидит, я могу дать ему в морду. Но с этим, страшно нависшим над ней, я ничего не могу сделать.

Это случилось и со мной, не знаю, в каком году, не знаю, был ли это весенний насморк или предновогодний недолгий озноб. Брал ли я больничный тогда, глядел ли в холодное окно, прихлёбывая из стакана малиновый чай, пристроившись коленями к тёплой батарее. Для меня ничего особенно не изменилось: у меня оказалось обычное лицо. Оно ничего дурного во мне не выдало, оно поясняло только то, что знакомым было ясно и прежде: теперь, входя в людное место, я будто бы говорил: «Я спокойный и терпеливый человек, надёжный и ответственный, без всяких творческих неожиданностей».

Не изменилась и Вера. «Я очень маленькая, очень нежная и очень женщина» — утверждало её новое лицо. Ну, так я всегда это знал.

Изменилось только человечество, изменилось быстро и необратимо.

Может, это был бог. А может, инопланетяне. Или неясная космическая пыльца, занесённая случайным метеоритом. Или невидимые существа, целую вечность дремавшие на дне Марианской впадины и выплывшие однажды к поверхности.

Бог — это вирус, — говорил мой бывший однокурсник Глеб Ольшанский, рисуясь перед девицами. Тайну мироздания, недоступную нобелевским лауреатам, случайно постиг несложный умишко семнадцатилетнего пацана. Это действительно оказался вирус. И к

моменту, когда учёные смогли обнаружить его, переболело уже всё человечество. Может быть, кроме некоторых аборигенов Полинезии.

Переболевший однажды терял нераздельную власть над собственным лицом: он по-прежнему умел сощурить глаза, нахмурить лоб или растянуть губы в улыбке, но не мог больше изобразить того, кем не был. Меня всегда очаровывала — впрочем, очарование было разбавлено смутным страхом — излишняя сложность человеческого устройства. «При улыбке работают от пяти до пятидесяти трёх лицевых мышц», — читал я где-то, поражаясь такому излишеству. Вирус, до поры маскировавшийся под обычный грипп, заставил всё лишнее работать, накапливая и запоминая мельчайшие незаметные движения лицевых мышц, и однажды — как правило, в возрасте от двадцати до тридцати, — эти движения сливались в особенное, из самой глубины присущее только этому человеку выражение лица, которое теперь никак нельзя было отменить. Человечество оказалось мучительно принуждено к честности: трудно быть строгим начальником, трудно получить хорошую работу, трудно жениться и выходить замуж, когда твоё лицо выдаёт нечто непригодное в начальстве, или в работе, или в семье.

Человечество, впрочем, изменилось не сильнее, чем с появлением интернета. Были новости. Был резкий всплеск интереса к физиологии старения, неразрывно связанного с мимическими изменениями. Были, наверное, десятки тысяч научных работ. Была попытка обмануть новую природу: с помощью специальной операции отдельные мышцы лица лишались подвижности, и тогда по достижении возраста изменений с человеком не происходило ничего заметного. Правда, новое направление в пластической хирургии недолго оставалось востребованным: подвергшиеся этой операции вскоре оказались изгоями в обществе людей, чьи лица не лгали.

Я смотрел на Алёну ещё пять, ещё десять лет спустя, всё так же мучаясь невозможностью вмешаться в её сложнейшее устройство и сделать так, чтобы жизнь её оказалась бесповоротно хороша. И тогда, от привычки к рефлексии, к разбору незначительнейших своих чувств и ощущений, я вдруг всё понял. Эта красивая девочка действительно сложно устроена, у неё под кожей вены, у неё в глазах хрусталики, а в суставах невообразимые механизмы, но если быть окончательно

честным, она до обидного несложна сама по себе: не как человеческий организм, а как одушевляющая его надстройка. Она любит смотреть фильмы про любовь и есть зефир. Она любит шмотки. Она любит меня, когда я даю ей деньги. Она не читает книг и обыкновенно не хочет разговаривать с нами. Ей не досталось ни моей рефлексии, ни материнской музыкальности; если же они не передаются генетически — то мы с Верой просто не сумели воспитать их в дочери. И теперь я очень, очень боюсь того дня, когда для всех станет очевидна её постыдная несложность. Что с ней тогда будет? Что будет с нами? Как все будут на неё смотреть? Как они будут смотреть на нас…

Моя грузинская командировка затянулась на лишнюю неделю. Я менял билет трудно и бестолково, путаясь в нелепейших пересадках, и уже возле дома, покидая такси, подумал, что финальная часть моего путешествия вполне может быть описана фразой: «Я ехал на перекладных из Тифлиса», и с этой фразой готовился войти в квартиру, чтобы посмешить Веру. Но дверь открыла Алёна, и мне пришлось спросить: что у тебя болит?

У неё правда было такое лицо, как будто что-то болит, и она терпит.

Она отвернулась и ушла в свою комнату, и через коридор на меня взглянула Вера, и я понял.

Больше всего мне хотелось в тот момент найти виноватого. Как зовут этого, который у неё был до Паши? Который всё время доводил её до слёз? Где он живёт?

Или эта, как фамилия, которая чуть не загнала её в гроб с дипломом? Научручка чёртова. Убью.

Или…

Тот, другой я, самим существом своим принуждённый отмечать и описывать, в этот момент перебирал в памяти черты её нового лица: что это в нём? Чуть-чуть сдвинулись брови? Чуть-чуть опустились уголки губ? Это бывает и когда злость. Или когда презрение. Или нет, тогда приподнимается верхняя губа… Что это в ней, откуда?

Или это Вера с ней сделала?

Или я?

Мы никогда её не ругали. Отпускали гулять. Возили в Геленджик. У неё было всё. Паша у неё ночует, мы ни слова не говорим. Я ей автошколу… Чёрт побери, да что же это с ней? Что такое всю жизнь

происходит у неё внутри, что теперь её лицо говорит — ей больно? Чему там вообще болеть?

Я прохожу в её комнату следом и вижу Алёну на балконе, как она дымит там, стоя в клетчатом своём халатике, как привычно на её плечах лежат густые волосы, какая она тоненькая и ладная, и я всё стою и смотрю на неё сквозь балконную дверь, в стекле двоящую и Алёну, и тёмное моё отражение, вот так стою и смотрю на неё сквозь стекло, даже сквозь неё саму, мне надо бы сказать ей что-нибудь, оказывается, я уже говорю, еле слышно, сквозь стекло и даже сквозь неё: горюшко моё, говорю…

Река Неправда

Река жила безымянной; может, оно и к лучшему. В наших болотных краях на бегучую воду молятся, как на избавительницу, на светлую деву, как старые родители на позднюю и единственную дочь — и поэтому, опасаясь сглаза, нарекают дурно. Не окажись безымянной, звалась бы она Вобля или Мусорка, а так мы нарекли её сами, по всем правилам, разбив плодово-ягодную бутыль о гулкую опору шоссейного моста.

Теперь она была Понарошка, потому что и не река, а так, обманка, ручей из болота в болото. Воды из неё никто не пил, разве что кроме коз и гусей, и светла она была потому, что, неглубокая, текла в жёлтых суглинках.

Разбираться в речных именах затеяла Антонина Ивановна: ей следовало занять нас, неприкаянных и редких, собранных в трескучей деревянной школе — седьмой, восьмой и девятый класс разом, всего двенадцать человек. Для неё, душечки, скромницы, нежной учителки, мы, конечно, были не всего, а — целых двенадцать человек опасного возраста. В седьмом, восьмом и девятом классе человек способен уже разорять поля, грабить ларьки, пить самогон и делать детей, и своим робким и трепетным вниманием Антонина Ивановна пыталась отвратить нас от всякого зла. Мы писали дневники наблюдений за живой природой — и просто дневники, составляли карты местности, собирали неуклюжие гербарии и еженедельно вклеивали по рукописной странице в громадную уже от времени энциклопедию птиц, облаков и насекомых нашего скучного края. Мы бы наверняка рисовали и лепили из пластилина — его и гуаши было в избытке — но Антонина Ивановна не умела, а восьмиклассник Кучеренко, который умел как настоящий художник, больше склонялся к жанру ростового портрета с порнографическими подробностями, и доверить ему наше обучение она не могла.

Кучеренко плохо читал вслух, потому и возникла Понарошка. «Восьмого сентября… на реке Неправде…» — трудно выговаривал он, водя пальцем по странице исторического учебника, — и нам бы привычно заржать, но мы согласились: река наша Неправда. Не река, а одно название.

Антонина Ивановна почти расстроилась — ей больше по сердцу пришлось бы имя детское и доброе — но виду не подала, а только принудила нас искать синонимы, и под конец урока Неправда превратилась в Понарошку.

Антонина Ивановна, её блёкло-рыжая голова в венце свалявшихся кос, её длинные пальцы в древесных узлах, её большое шарообразное тело, к которому словно приставили чужие, тонкие руки и ноги. И если чужие её руки хорошо гляделись над журналом и тетрадями, то ноги не выдерживали тяжести всей Антонины Ивановны, опухшие и покрытые уже не голубыми, лиловыми и чёрными узлами вен. Летом она носила босоножки из тонких кожаных ремешков, и к последнему уроку из-под этих ремешков выступала кровь. Выходя из класса, она оставляла на деревянном полу ржавые следы, но не менялась в лице: то ли была приучена терпеть, то ли давно не чувствовала ног.

Она казалась ещё почти молодой, но выдавал запах: нафталин и лежалая шерсть, старая газета, детская пелёнка, много раз выстиранная с мылом и двадцать лет потом хранившаяся в кладовке. Она пахла бабушкой, но бабушкой никому не была. Её молодые, младше наших, родители лежали под сваренным из железок узорным крестом в самой середине кладбища, а мы, неродные — из уважения и нежности, из жалости и печали — носили к нему крашеные яйца, конфеты и баранки. Оттуда же, из-под креста, мы воровали весною примулу, а осенью мелкие жёлтые астры.

Брат у Антонины Ивановны был дебил Коля, чёрный и худой, с мутным левым глазом и сигаретою в углу кривого рта. Он приходил посмотреть на нас, ведомый любопытством и тоской, и когда его косматая голова вдруг вырастала за низким окном класса — девки поначалу визжали и шарахались, потом привыкли — Антонина Ивановна махала на него руками, беззвучно артикулируя: домой, пошёл домой! Брат разворачивался и уходил.

Однажды разъяснилось, что дебилом он был не всегда. Восьмого сентября, в Понарошкины именины, к нам привели новенького Игоря Лыкова. Он был тощ, носат и прилизан по-городскому: городские мазали башку гелем до сопливого блеска и приглаживали расчёской с редкими зубьями; мы дразнили их за это пидорами. Он был прям и держал настороженное, заранее презрительное лицо. Он был

Лыков, как Антонина Ивановна, но в сыновья ей не годился: не был рыжим, никто его раньше не видел, он нам не нравился. На математике и физике он пересаживался за первую парту, тянул руку и всячески демонстрировал, как хорошо его выучили в прежней школе. Нет, он не был сыном ей, и мы его тоже кое-чему неплохо выучили бы, если бы они не уходили из школы вместе, если бы он не тащил её сумку с тетрадями.

Рассказали скоро, что Игорь — сын этого самого дебила Коли. Коля был когда-то обычным человеком, работал механиком, был женат, растил сына, а потом случилась большая драка у магазина под самый новый год, и в висок ему залепили ледяной глыбой, и полгода он лежал овощем, и никогда уже не пришёл в себя до конца. Жена забрала ребёнка в город, а Колю оставила на попечение сестры: двоих ей было не вытянуть. А теперь у неё, стало быть, случилась какая-то личная жизнь, и Игоря отправили к тётке на полгода, хотя злые языки поговаривали уже, что навсегда. Нам его не было жаль.

Девки, все пятеро, принялись строить ему глазки: выбирай — не хочу. Со своей сложной рожею он был им прямо как Онегин, Печорин и Чацкий в одном флаконе. Ему оставалось только выбрать — и тогда мы, полагавшие девок не то чтобы собственностью, скорее существами безмозглыми, нуждающимися в опеке и защите — рожу бы ему немножко упростили и подрихтовали.

Но Лыков выкрутился: он выбрал Галку Скоробогатову, которая никому не сдалась. Коротконогого очкарика с оттопыренными ушами. Они сидели теперь за одной партой, и Галка, розовая и смущённая, сияла на него очками.

Вскоре вышло странное дело: родство новенького с Антониной Ивановной отчего-то не впечатляло нас, но из-за Скоробогатовой мы оказались вынуждены его принять или хотя бы сделать вид. К тому же Галкин острый язык развенчал его в два счёта: мы прозвали Лыкова Басурманом за черноту и угрюмость, а она принялась ласково окликать Басурманчиком. Уменьшительная эта ласкательность и решила всё: Басурманчик никак не может быть Онегиным, Печориным или Чацким, а значит, никоим образом для нас не опасен больше.

Он оказался ничего. И, больше того, он имел смелость сообщить нам, что мы тоже ничего.

На том и порешили.

Зима наступила тёплая, почти бесснежная. Лес стоял чёрный, подтапливало погреба, все болели простудами, над Понарошкой поднимался густой и сырой туман. Антонина Ивановна выбила в правлении лишку дров, и весь декабрь в школе было жарко и сухо.

Антонина Ивановна, хоть в её обязанности входило учить нас и географии, и истории, и немецкому языку, была всё же русичкою, и потому в других предметах, кроме русского и литературы, мы плавали — отчасти увлечённо, но всё же беспомощно, скорее зачарованные, чем надеющиеся понять. Литературу свою она тащила всюду упрямо и насильно, и об Африке мы знали, что она место обитания изысканных жирафов, а Непрядву путали с Каялой и Угрой. Девкам история давалась легче, должно быть благодаря парикам, кринолинам и прочей галантной мишуре, которую они перерисовывали в тетрадки. Нас же — из всего прошлого — касалась только седая, как туман над Понарошкой, древность, где уходили воевать сумрачные витязи, держа в ножнах тяжёлые мечи. Летом мы, бывало, находили в огородах изъеденные временем подковы и гвозди, а иногда чёрные монеты с обгрызенными краями, похожие на драконьи чешуйки.

Басурманчик там, у себя в городе, был чтец и лауреат, голос у него был глухой и тихий, он много знал наизусть, и Антонина Ивановна просила его читать каждый раз, когда уставала говорить. «А как мы рубились на тёмной Каяле, — произносил он будто без всякого выражения, но волосы у нас вставали дыбом, — твой князь на Каяле оставил меня. И впору бы мне тетивой удавиться…»

Зегзицею, — рассказывала Антонина Ивановна, — разная птица звалась у разных народов: и кукушка, и чайка, и чёрная ласточка.

Мы сидели полусонные в тёплом классе с непроглядной утренней мутью за окнами, грелись, клевали носом, тянули время — это была общая наша необходимость, тянуть время, протягивать его через себя, задерживать собственным телом. Потому что дальше — нам дано было необъяснимое чутьё на этот счёт — всё должно было стать иначе, и скорее плохо.

Дальше был март, ледяной и узорный, как будто расплата за бесснежный декабрь. А дальше такой апрель, какого в наших краях не случалось прежде: стремительный, жаркий, звенящий, в две недели раскачавшийся от половодья до большой суши, и трава уже зеленела

раньше срока, и вишни в садах замерли, готовые превратиться в белые взрывы.

Что там школа, мы плевать на неё хотели. Мы убегали и прятались, уходили в леса — Кучеренко знал высохшие уже тропинки; разводили костры, пекли зимовалую мягкую картошку и обугливали хлеб, пили всё, что удавалось купить или украсть, а солнце стояло высокое и молодое, обещая скорое лето. Миха Глаголев подрабатывал на разгрузке в магазине, иногда ему удавалось подрезать пару банок консервов и прибавить их к весеннему пиршеству. Скоробогатова осторожно, понемногу выносила из дома чёрносмородиновую наливку.

Антонина Ивановна болела, сначала простудой, а потом чем-то с ногами; дом оказался на Басурманчике, и ему не удавалось сбежать к нам. Они ругались так, что было слышно на улице: Басурманчик ничего не умел, у него, городского, всё валилось из рук. В конце концов главным его занятием сделалась слежка за собственным отцом-дебилом, который был опасен в быту. Среди наших родителей ходили разговоры, что надо звонить Басурманчиковой маме: Антонина Ивановна, может быть, больше не встанет, а пацану надо учиться. Но всё это было словно не всерьёз, понарошку: школа ещё не кончилась, куда ей деваться от нас.

И когда она совсем слегла, Басурманчик стал убегать с нами. Спиртного у них в доме не было, но он таскал у отца сигареты, а из погреба солёные огурцы, которые отлично шли вприкуску с обугленным хлебом.

Мы его жалели. Не за отца-дебила и больную тётку, а за то, что мать приедет и заберёт. Наша простецкая жизнь оборачивалась для него диковинной и невиданной свободой, и басурманская хмурость сменялась блаженной улыбкой, как только мы оказывались в лесу.

В то воскресенье мы перебрали. Кучеренко перекидал кому-то два прицепа дров за две бутылки водки. Был день, один из немногих, когда в самое сердце леса можно войти без куртки, а найдя там сухую поляну, сесть и разуться, потому что припекало уже по-летнему, но комарьё и мошка ещё не проснулись. Лыков, издавая басурманские вопли, бегал и колотил палкой по стволам. Галка блевала в овраг. Закуска как-то неожиданно кончилась. Мы потянулись было в деревню, но уже на самом краю леса вдруг оглядели сами себя и поняли, что быть нам битыми и поротыми, если явимся в таком виде. Решили

выждать, плюхнулись на жёлтую перезимовавшую траву, курили, травили байки, грелись на солнце, глядя меж стволов в прозрачное поле и светлую деревню за ним.

Басурманчик вдруг что-то сказал — это не человечье слово было, а короткий переливчатый звук, вроде того, что издаёт разбуженная кошка — и подорвался с места бегом.

С краю деревни поднимался столп дыма, прямой и страшный.

Мы встали и небыстро потянулись следом за Басурманчиком, глумясь и вопя. Горела баня у Басовых, она у них, алкашей, горит каждую весну, чего там смотреть. Шли долго, спотыкаясь на прошлогодней комковатой пашне, проветриваясь, приходя понемногу в себя, и только у самой деревни, когда до пруда уже было рукой подать, а до слободки оставалось метров двести, поняли, что это не Басовы горят, и не баня.

Это дебил Коля, поняли мы, за которым Басурманчику было назначено следить, ходил по дому с сигаретой, а может, и уснул с ней. А может, ещё что случилось — но Басурманчик был с нами и не уследил.

И что теперь? И как?

Дымный столп был уже не чёрен: пока мы шли, он вдруг растянулся над землёй и перекинулся в белое облако кучевого пара — значит, доехали пожарные и принялись тушить.

Бежать туда смысла не было: все уже шли оттуда.

Бабки спрашивали нас, где Басурманчик и когда мы его видели. Не было ли его, спрашивали, в доме. У него, говорили, несчастье какое, тётка и отец погорели насмерть.

Кинуться бы искать его, но мы пошли к Понарошке: головы ещё туманил непосильный для размышления градус.

Там он нас и нашёл, и рожа у него была красная и удивлённая — всякое лицо без бровей становится удивлённым — и чёрные растопыренные руки, и чёрная куртка, и Галка метнулась к нему, обхватила под мышками и поволокла к речке, обрушила там на колени и стала кунать лицом в воду, это она быстро сообразила. Он отбивался, потом перестал.

Когда Басурманчик поднял голову от воды, у него было пустое лицо утопленника. Хуже, лицо удавленника. Он знал, что виноват. Он знал, неотвратимо и безнадёжно, что ему делать теперь.

И мы молча стали спускаться к нему, чтобы спасти.

Били страшно. Он правда был виноват. По нашей светлой бегучей жизни — его оплошностью — разошлась маслянистая чёрная гарь. Галка отвернулась и не мешала. Били страшно, но осторожно, чтобы не покалечить. С ненавистью — и с расчётом, чтобы не встал завтра, и послезавтра. А когда встанет, он будет хотеть жить. Когда появляется дикая какая-нибудь сложность, которую не умещают ум и сердце, всегда можно найти простое — и ещё более дикое решение.

В школе он не появился больше, а из райцентра к нам, будто в насмешку, прислали другую Антонину. Эта была Петровна, низкорослый колобок в подсиненных старческих кудрях, в серой шали поверх невзрачного платья, с тяжёлыми серьгами в ушах и бульдожьими брылями вокруг нарисованного розовой помадой рта. Она звала нас «дети». Мы не могли заставить себя звать её по имени.

Она открывала учебники — русского, литературы, истории, географии — и читала вслух, а потом проверяла наши конспекты. Жаловалась родителям на наши прогулы.

Мы пытались делать вид, что её вообще не существует.

Басурманчика мы встретили на Понарошке девятого мая. Он сидел на песке с молотком и стамеской, долбил какую-то корягу. У его ног, вся в глинистой грязи, лежала синяя кладбищенская лампадка — он, должно быть, выкопал её там.

Мы подошли ближе.

Басурманчик полез в карман и достал скомканный грязный платок. Положил на песок перед собою, развернул. В платке оказалось несколько металлических пуговиц, оплавленная пластмассовая камея и пара чёрных косточек длиной не больше фаланги пальца.

Почему-то сразу стало понятно, что он делает. Наверное, Антонина Петровна рассказывала когда-то. Или в учебнике. В общем, стало понятно — и Кучеренко взялся помогать ему с корягой, а Галка принялась выковыривать из берега коричневую глину.

Переговаривались так, как будто это не мы совсем недавно избили Басурманчика до полусмерти. Может быть, он всё понимал. Рассказали ему про новую Антонину. Он рассказал, что к ночи за ним приедут мать с отчимом.

Когда всё было готово, мы положили пуговицы, камею и кости в долблёную корягу, залепили глиной, пристроили лампаду сверху и залепили по бокам глиною тоже. Басурманчик вытащил из сумки бутылку с церковным маслом, налил, зажёг фитиль. Мы пустили корягу плыть вниз по Понарошке и сели смотреть, как она уходит.

Он, должно быть, ждал нас, потому что следом достал другую бутылку и раздал всем по карамельке. Мы сделали по глотку и закусили, всё молча. Когда коряга ушла в дальние камыши, стали подниматься вверх, на мост — оттуда её можно было проследить ещё немного.

В майские праздники, оказалось, на шоссе отремонтировали ямы и обновили разметку, а на мосту установили синий щит с настоящим именем нашей Понарошки — так она звалась задолго до нас, и до Антонины Ивановны, и даже до самой деревни: «р. Опалинка».

Когда Басурманчик уехал, мы два дня расстреливали этот щит из мелкашки, а потом повалили и сбросили под мост.

2008—2016

Содержание

КНИГА ЖИВЫХ И МЁРТВЫХ

Рита....4
Алёша....8
Оленька....14
Шура....24
Марина и Макс....31
Ася....34
Изольда Марковна....38
Лёнька....43
Оксана....49
Анка....52
Инна Викторовна....60
Янка....65
Игорь Петрович....69

ВСЁ, ЧТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ

Облака....74
Штрафные....82
Большая жизнь Дугласа Фогерти....87
Сутра экскаватора....96
Про море....101
Мишель....110
Чара....115

РЕКА НЕПРАВДА

Волчьи ягоды....126
Близкие контакты....133
Нетка....142

Обстоятельства места 147
Молли Миллиган 157
Люба, живая и мёртвая 164
Нагорная 168
Вирус 184
Река Неправда 190

Екатерина Перченкова

ЛОЖЬ, ФАНТАСТИКА И ПРО СУМАСШЕДШИХ
сборник рассказов

распространяется свободно
не для продажи